

Б И Б Л И О Т Е К А



ОГОНЁК

№ 19

1984

ISSN 0132-2095



Исидор ШТОК

В НЕБЕ
МОЕЙ ЮНОСТИ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 19

Исидор ШТОК

**В НЕБЕ
МОЕЙ ЮНОСТИ**

РАССКАЗЫ ДРАМАТУРГА

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1984

Исидор ШТОК
(1908—1980)

Исидор Владимирович Шток — известный советский драматург. Родился в Петербурге, учился в студии Театра Революции, затем работал в Московском Пролеткульте. Первая пьеса была написана им в девятнадцатилетнем возрасте. Пьесы И. Штока ставились в крупнейших театрах страны. Широко известны такие его драматические произведения, как «Ленинградский проспект», «Гастелло», «Старая дева», «Божественная комедия», «Золотые костры».

МИР ЧУДЕС

Когда я бываю на Красной Пресне, а бываю я там часто — ведь это мой путь домой,— я неминуемо встречаюсь с воротами и решеткой зоопарка, с павильоном метро «Краснопресненская», с домами, которые мне знакомы много-много лет.

И каждый раз возникает передо мною юность и удивительное государство-четыреугольник, окруженное со всех сторон Москвой. На севере — Белорусская дорога, на западе — Москва-река, на юге — асфальтовая лента Садового кольца, площадь Восстания, бывшая Кудринская, на востоке — улица Горького, бывшая Тверская.

Красная Пресня началась для меня на сцене театра. Театр Революции, где я учился и участвовал во всех спектаклях, ставил историческую хронику Насимовича «Барометр показывает бурю», посвященную девятьсот пятому году.

Как наш Трепов генерал
Жандармерию сбирал.
Эй вы, синие мундиры,
Обыщите все квартиры.

И припев:

Чири-наковыри-надырвина рябой,
Чернобровый милый мой!
Эх, Исидорка, не плачь, Никанорка,
Слезы катятся из глаз.

Так мы пели в первой картине, перед восстанием на Пресне. Драма «Барометр» была рассчитана на сотни, на тысячи исполнителей, а нас на сцене было не более сорока. Ох и старались же мы! Пели, стреляли, падали, умирали, восставали, срамили Трепова, Дубасова, Витте, деятелей думы, меньшевиков и самого Николая Кровавого. Всем доставалось!

Я изображал то фабричного парня, распевавшего глумливые частушки про Трепова, то члена Государственной думы, то городского, то рабочего-подпольщика, то солдата, стреляющего в народ. Дела было много. Спектакль был шумный, дымный и отчаянный. На репетиции частенько приходили старые большевики и ветераны — рабочие с «Трехгорки», помнившие фабриканта Прохорова, участники восстания. Со времени изображаемых событий прошло всего двадцать лет. Очевидцы давали советы, исправляли исторические неточности, с недоверием посматривали на нас, юниоров, призванных воплотить на сцене краснопресненцев. Слишком молодыми и несерьезными, наверно, мы казались.

Публика, которой от спектакля к спектаклю становилось все меньше и меньше, принимала наше представление хорошо: горячо аплодировала, задыхалась и тонула в густом дыме от пороховых шашек и шутих, даже иногда кричала «ура». Спектакль протянул недолго. Но, участвуя в нем, я как бы получил боевое крещение.

А вскоре попал я на настоящую Пресню — в клуб «Трехгорной мануфактуры». В ту пору я уже ушел из Театра Революции и теперь учился и работал в Передвижном рабочем театре Московского пролеткульта, шефствовавшем над клубом «Трехгорки». Собственно говоря, при Трехгорной текстильной фабрике было два клуба. Один помещался в бывшем доме фабриканта — там занимались кружки, были библиотека, читальня, струнный оркестр, акробатический ансамбль. А чуть подальше, там сейчас Дворец культуры имени Ленина, там помещалась знаменитая Кухня. Это был огромный сарай. Раньше здесь кормились рабочие Прохорова, была столовая. Потом столы убрали, столовые перевели поближе к цехам. У Кухни славная история: здесь был центр восстания пятого года, в первые годы революции здесь выступал В. И. Ленин.

В зрительном зале, вмещавшем более тысячи мест, висели кумачовые лозунги и портреты вождей. Здесь играли артисты Художественного, Малого, пели певцы Большого, сюда приезжали zahraniчные гастролеры. Выступали здесь и мы, пролеткультиовцы. Выступать на сцене Кухни было почетно. Мы ставили здесь наши пролеткультиовские пьесы: «Энергия», «Преступление Суркова», «Солнечный цех», «Так и было»... Сейчас эти пьесы забыты; наверно, и тексты их утеряны. Но тогда наивные наши представления хорошо принимались рабочими. Они терпеливо сносили наши формалистские, модные в те времена «новации» и буффонные условности, горячо восторгались героями: первыми женщинами-подмастерами (среди прочих пьес была и моя: «Как испортили пословицу»), рабкорами, борцами с религиозными предрассудками. Мы продергивали взятчиков, алкоголиков, «магарычников». Иногда вместе с нами выступали и самодейтельные кружки «Погонялка» и «Челнок». Кружковцы пели: «Рука станка крепка, пока в работе есть закалка. Споры, раздоры скоро рабкоры разгонят «Погонялкой».

Ни один революционный праздник не проходил без специально подготовленных программ живой газеты «Синяя блуза». Здесь были и международные обзоры, и акробатические пирамиды, и раешник, и частушки на местные темы с перечислением фамилий бракоделов, летунов, прогульщиков. Иногда устраивались карнавалы, и мы вместе с руководством Пролеткульта, с драматургом и режиссером Сергеем Крепуской (как его настоящая фамилия, никто не знал, «крепуско» — это термин из модного в те годы международного языка эсперанто) в содружестве с юными поэтами-синеблузниками Виктором Гусевым, Игорем Чекиным, Павлом Фурманским, Ярославом Родионовым, «стариками»-синеблузниками Борисом Бобовичем, Градовым, Буревым сочиняли тексты для этих карнавалов.

Пионеры пели:

Папы и мамы! Дяди и тети!
Если вы курите, если вы пьете,
Вы в ногу с нами совсем не идете!

Я писал частушки и фельетоны, маленькие пьески и оратории, участвовал в сборниках «Синей блузы», частенько бывал в Охотном ряду, где помещалась редакция «Блузы», где познакомился со многими поэтами, в том числе и с Маяковским.

Кроме того, что я руководил детской живой газетой на «Трехгорке», мы с Володей Лавровским, моим сверстником и сопролеткультовцем, руководили гимнастическим кружком, ставили акробатический аттракцион.

Собственно говоря, акробатом был Володя Лавровский, — акробатом, певцом, танцором, прекрасным (так мне казалось) художником. Он был неиссякаем и бесконечен, гениален и разносторонен.

Тогда в Пролеткульте все были гениями. Кроме того, мы увлекались партерной и воздушной гимнастикой. Только вот создать единое сюжетное и темповое представление (на весь аттракцион отпускалось четыре с половиной минуты) Володя не мог. Просил меня помочь. Вооружившись свистком и палкой, одновременно дирижируя пианистом, я орал, хлопал палкой и кричал: «Темп, темп! Темп!» Удары на барабане, крики «ап!», галоп на фортепиано и звон тарелок горячили исполнителей.

Дважды на сцене Кухни мы исполняли наш аттракцион с неперенным успехом. Заканчивался аттракцион трехэтажной пирамидой, изображавшей единство международного рабочего движения. Потом сверху сваливалось чучело Чемберлена, из чучела выбегали маленькие дети (члены детской акробатической секции), изображавшие доллары, которыми был подкуплен Чемберлен, загорался красный свет, пламя металось по сцене, под пламенем возникали рабочие в синих блузах, с серпами, молотами и штурвальными колесами в руках. Все пели о том, что «по всему Союзу призывы

наш прогремел. Рабочий в синей блузе руль стройки завертел!» (Вот для чего были нужны штурвальные колеса — их вертели). Происходил марш-парад: появлялись все участники, лучи прожекторов бегали по стенам, били литавры и гремели трубы — апофеоз!

Все были довольны нами, Володя был доволен мною, я — Володей. Но больше всех радовалась нашему успеху Ниночка Барова. Она любила Володю, была его возлюбленной, она часами ждала его на Воздвиженке или возле Кухни, чтоб вместе с ним пойти домой.

Семнадцать лет, едва окончив школу, Ниночка выскочила замуж за ответственного и очень занятого человека, лет на пятнадцать ее старше. В восемнадцать родила мальчика, сдала его на воспитание свекрови, поступила в Пролеткульт, встретила там Володю Лавровского, полюбила и призналась, что хочет для него бросить мужа, сына, свекровь и посвятить себя только ему, Лавровскому. Володя был очень скрытным и молчаливым. Никогда и ни с кем не делился своими душевными переживаниями. Любовь Ниночки он принял очень спокойно, чересчур спокойно, он даже немного стыдился. В общем, он был равнодушен к Ниночке. Любил Пролеткульт, спектакли, акробатику, плакаты... С женщинами держался презрительно, никогда не откровенничал, не уединялся. В Ниночку был влюблен я, но она об этом не знала, да так никогда и не узнала. Только разве теперь, если прочитает этот рассказ... Прости меня, Ниночка, за то, что признаюсь тебе в любви с пятидесятилетним опозданием.

Она ждала Володю после репетиций и спектаклей очень долго, иногда до середины ночи, пропуская последние трамваи... Потом он выходил. Она его окликала. Они шли домой по разным сторонам улицы, он по левому, она по правому тротуару.

Иногда вместе с ними по мостовой шел и я в качестве третьего лишнего. И Володя, казалось, был очень рад, что я иду с ними, не отпускал меня, не хотел оставаться наедине с Ниночкой. Или просто стеснялся? Не знаю.

Володя был многогранно одаренный человек. Небольшого роста, с очень выразительными выпуклыми глазами, с гривой вьющихся густейших волос, он был одним из многих, кто сознательно, испуганно и безвозмездно принес свой талант в Пролеткульт. Его мало интересовало, как там и чем там жили его сестры, мать и племянница. Мог поступить плакатистом в любой кинотеатр и защищать большие деньги, его и приглашали. Мог стать и профессиональным акробатом в цирке. Ковёрным. Ведь он умел делать все: жонглировать, ходить по проволоке, вертеть двойное заднее и переднее сальто. На уроках импровизации он умел до слез смешить студийцев и преподавателей. Удивительно точно и зло показывал руководителей Пролеткульта Плетнева и Додонова, артистов Первого рабочего театра Глизер, Янукову, режиссеров Эйзенштейна, Винера, Крицберга, героев кино Гарольда Ллойда и Дугласа Фербенкса. Словом, это был человек

разнообразных талантов, которые ничего, кроме ограниченной славы среди пролеткультовцев, ему не принесли. Его импровизации были целые пьесы с диалогами, неповторимыми интонациями, безумными мизансценами. Заканчивались они каскадом акробатических номеров, разными флик-фляками, имитацией падения из-под купола цирка, предсмертными криками и мгновенным возрождением. Потом он подбегал к роялю и, аккомпанируя себе, пел тут же выдуманную песенку.

Как жаль, что тогда не было магнитофонов и я не записал ни одной его песенки, ни одной его импровизации! Впрочем, неизвестно, как бы это все получилось в записи. Не завяли бы, не скукожились бы его великие импровизации?

Абсолютно убежден, что если бы Володя Лавровский еще немного прожил, он прославился бы как выдающийся актер-импровизатор, куплетист-сатирик, художник-моменталист и клоун-эксцентрик. Но он прожил очень мало... Даже до большой войны не дожил.

В ту ночь, когда мы возвращались с праздничного концерта, где наши воспитанники стяжали небывалый успех, Володя был мрачен.

На улице его, как всегда, ждала Ниночка Барова. Она простояла часа четыре дожидаясь нашего выхода. Володя заметил ее, небрежно поздоровался и пошел по противоположному тротуару.

Нина взяла меня под руку.

— Скажи ему, что я навсегда ушла от мужа, от семьи, что мне некуда деваться, негде даже сегодня ночевать, скажи, что я согласна жить с ним где угодно, что он должен меня взять с собой, познакомить с матерью и сестрами, что я постараюсь им понравиться, что у них будет бесплатная домработница, ведь это же им будет выгодно...

Она заплакала.

Я перешел на другую сторону улицы, взял за плечи Володю и передал ему все, что она сказала.

Он слушал и не слышал. Что-то промычал и покачал головой.

Я повел их к себе. Теперь я ночевал у двоюродного дяди на Трубной. А иногда у его любовницы в Марьиной роще. Дядя и любовница уехали на курорт, и к моим услугам были две комнаты в разных районах. По дороге к Трубной в ночном магазине мы купили бутылку вина и еду. Мы шли пешком от Кухни, потому что трамвай уже не ходили, а на такси у нас не было денег, да и были ли такси в ту пору?

Уже светало, когда мы ввалились в дядину комнату. После наскоро съеденного студенческого ужина, несладкого чая и кислого вина я предложил справить сейчас же, здесь же их свадьбу. Музыки не было. Телевизоры не были изобретены. В ресторан нам по причине бедности пойти невозможно. К Володе поздно. Я сорвал с дядиной единственной кровати тюфяк, одеяло, подушки и постелил их на полу.

Открыли окно, и мы с Володией закурили.

Как жить дальше?

Что будет завтра?

Нина навсегда ушла из дома. Я был уже давно бесквартирным московским кочевником. Володя не мог рассчитывать на гостеприимство матери, двух сестер и племянницы, живших в одной маленькой комнате.

Ходили слухи, что Пролеткульт хотят закрыть, а Кухню на «Трехгорке» снести и вместо нее построить дворец. Охотный ряд вместе с «Синей блузой» рушили, чтоб построить Совет Народных Комиссаров, а напротив гигантскую гостиницу...

Спать мы не хотели, а ночная прогулка не отняла, а прибавила нам силы. Мы лежали на дядином тюфяке и давали друг другу советы. Никто не советовал себе, только другим.

Когда дошла до меня очередь выслушивать советы, Володя Лавровский уронил горящую папироску на дядину подушку, прожег большую дырку в наволочке, замазал ее наскоро слюнями и сказал:

— Тебе, сынок, хуже всех. В тебя пока никто не влюблен, и тебе скоро двадцать. Специальности у тебя нет. Образование неоконченное и окончено не будет никогда. Актер из тебя не получился и не получится. Нет голоса, нет выдержки, а кроме того, тебя во время спектакля всегда тошнит, думаешь, я не вижу? Режиссером ты не будешь, ты слишком вспыльчив и неорганизован. Поэт? Но это же стыдно читать и слушать, что ты пишешь! «Рука станка крепка пока...»

— Что же мне делать? — в панике спросил я.

— Сделайся драматургом! Напиши драму. Или комедию. Только не о том, как одна баба стала подмастером. Напиши о комсомольцах. О себе, обо мне, о Нинке, о пролеткультовцах, о Красной Пресне. Напиши о маленьком провинциальном городке, откуда все бегут в Москву, словно чеховские три сестры. Никто не хочет оставаться в родном городе и строить социализм. А кто же будет строить социализм в городе Пирятине, я тебя спрашиваю? Кто?

— Но, Володя, я не знаю никакого Пирятин. Я никогда не жил в маленьких городках. Всю жизнь только в больших: в Петербурге, в Харькове, в Москве.

— Тебе и не надо знать маленьких городов! Опиши Красную Пресню. Только не заставу, не главную улицу, а возьми Курбатовский переулок, Мантулинскую, Малую Грузинскую... Отдели их от Москвы. Вот такие деревянные домики, мальчишки голубей гоняют, все знают друг друга... А вблизи хлебозавод или мукомольная фабрика, гвоздильный заводик, спичечный... И все комсомольцы уехали в Москву. Осталось только три парня. Среди них один очень энергичный, очень талантливый и очень упрямый, который решил свой город превратить во вторую Москву. Да, да, в настоящий огромный город, из

которого бы не бежали, а в который все бы стремились. Вот этот парень организует СЛОП — союз любителей обновленного Пирятина. Нет, надо назвать город как-нибудь иначе, а то настоящий Пирятин обидится. Назови его Нырятин. А общество: СЛОН — союз любителей обновленного Нырятина. Слушай, а ты видел когда-нибудь стадо диких слонов в джунглях? Не видел? Я тоже не видел. Не имеет значения. Когда идет такое стадо, оно сметает все преграды на своем пути — заборы, сараи, дома, все сметает! Не попадайся на пути. Вот такое движение поднимают в своем родном городе эти ребята из Нырятина. Пусть твои герои прут вперед, разрушая все препятствия, прут, пока живы, растаптывают, уничтожают обывательщину, затхлость, плесень, мещанство, канареек. И эпитафю возьми у Маяковского: «Опутали революцию обывательщины нити, страшнее Врангеля обывательский быт. Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит!» А назови пьесу так: агитка о любви, дружбе и о цели жизни. Понял? А мы с Нинкой придем на премьеру.

— А ты, Володя, поставишь этот спектакль у нас в Пролеткульте?

— Нет. Я поступлю в архитектурный институт. Актерство бросаю навсегда, ну его! Я окончу архитектурный и попробую сделать проект нового театра, ну хотя бы у нас на Пресне. Снести к чертям эту старую развалину — Кухню и построить современный, сверхсовременный театр-дворец, наподобие греческих амфитеатров или Колизея, только с современной техникой, с лифтами, движущимся партером, с летающими ложами, с распахивающимся потолком. Пусть во время представления сверху будет лететь гигантское полотно, только что сотканное на «Трехгорке», прямо от станков на сцену. И пусть начинают светиться стены — ведь рядом же завод лакокраски! Новые святающиеся краски, лампы, огромный оркестр, поднимающийся на движущейся платформе снизу, из-под пола. А потом выдвигаются лестницы, и все идет к Москве-реке гулять. Ведь она тут же, рядом... Спектакли будут ставить Мейерхольд и Маяковский... Как только кончишь писать пьесу про Нырятин, сейчас же начинай писать для нашего театра. Нам с Мейерхольдом и Маяковским понадобятся такие пьесы. Начинай! Заказываю!

Я никогда не видел Володю таким возбужденным, страстным. Наконец-то он высказался. Вот, оказывается, о чем он мечтает.

— А ты, Ниночка, чего ты хочешь?

Ниночка хотела Володю. Со всем его безумием, с проектами, с неустроенностью. Она хотела Володю, и больше ничего...

Прошла эта ночь.

Для нас она была рубежом.

Володя засел за учебники, он готовился к экзаменам в архитектурный институт.

Ниночка вернулась к мужу, к сыну, к свекрови.

Я начал писать пьесу о Нырятине и о слонах.

Вечером мы все продолжали встречаться в Пролеткульте.

Красная Пресня была краем театральным. Один конец ее упирался в театр Мейерхольда на Садово-Триумфальной площади. Другой — в Арбат, в Никитские ворота. Там Театр Революции, ГИТИС, Пролеткульт. Рядом Дом печати (ныне Дом журналиста), куда мы бегали в свободное и в несвободное время. И с кем только мы там не встречались! В ДOME печати слушали мы первое чтение Маяковским его поэмы «Хорошо!». А через год в Краснопресненском ДOME комсомола на Васильевской участвовали в обсуждении комедии «Клоп». Читал Маяковский. Рядом с ним был Мейерхольд. Когда окончилась читка, Мастер стал рассказывать постановочный план комедии, показал эскизы и просил высказываться.

Володя Лавровский и Леня Фридман полезли на сцену и прокричали, что пьеса им очень нравится. Мейерхольд пригласил комсомол Красной Пресни на первое представление. Мы поблагодарили. Мейерхольд просил принять резолюцию, одобряющую пьесу. Мы приняли.

Леня Фридман попросил Мейерхольда как можно подробнее обрисовать его, Мейерхольда, мнение о пролеткультах.

Мейерхольд ответил кратко:

— Мнение самое плохое. Перспектив не вижу. За деятельностью Пролеткульта не слежу.

Мы были очень огорчены.

Мейерхольд усиленно репетировал «Клопа», а мы, пролеткультовцы, выселенные из особняка на Воздвиженке (здание понадобилось отдать заграничному посольству), оказались под одной крышей с театром Мейерхольда. Помещение бывшего театра Зона разрезали по вертикали, Пролеткульту досталась левая сторона, там, где было кино «Зеркальное», а в первые годы нэпа казино. Новоявленные нэповские богачи проигрывали там целые состояния в рулетку и девятку.

Двери из театра Мейерхольда к Пролеткульту были тщательно замурованы. Но все же мы ходили к мейерхольдовцам на спектакли и на репетиции, дружили с актерами.

Наступила генеральная репетиция «Клопа», устроенная специально для краснопресненского комсомола, как Мейерхольд и обещал. Спектакль кончился, и разразился скандал.

Актерам много хлопали, они кланялись. Кланялись Маяковский и Мейерхольд. Затем на просцениум вышел Мейерхольд и обратился к зрительному залу:

— Ну как, понравилось?

Зрительный зал хором ответил:

— Спасибо!

Мейерхольд сказал:

— Нужен комсомолу наш театр?

— Очень! — сказал зрительный зал.

— Ну так вот, — сказал Мейерхольд, — мы просим вас сейчас вынести резолюцию и послать ее Совету Народных Комиссаров, — комсомол Красной Пресни требует, чтоб помещение, занимаемое Пролеткультом, было немедленно передано театру Мейерхольда. Вот резолюция.

И Мейерхольд прочитал проект резолюции.

Тут вскочил Володя Лавровский. За ним я. За нами Ниночка Барова. За ней Лёня Фридман. И мы стали кричать:

— Провокация! А куда же девать Пролеткульт?!

Мейерхольд закричал:

— Куда угодно!

Тогда я побежал по проходу к сцене и закричал:

— Стыдно, товарищ Мейерхольд, травить родственную организацию!

Мейерхольд взбеленился и закричал:

— Не родственную! Пролеткульт мне не родственная организация!

В этот же миг ко мне подбежал молодой артист театра Мейерхольда Валька Плучек, схватил меня за рубашку и закричал:

— Сюда пробрались пролеткультовцы! Бей их!

И ударил меня и порвал на мне рубашку.

Я в долгу не остался. Нас розняли. Мейерхольд ушел. Так окончилась история с резолюцией.

И началась моя дружба с Плучеком, которая длится уже пятый десяток. Он, как вы знаете, народный артист, как некогда был Мейерхольд, главный режиссер Московского театра сатиры, интерпретатор драматургии Маяковского, возродивший эту драматургию для современной сцены после многолетнего перерыва...

А потом я покинул Пролеткульт, осточертело мне актерское дело, да и мешало работать над пьесой.

На премьере «Бани» у Мейерхольда я был, это было тягостное и малолюдное зрелище, неудача Мастера. Он уехал вместе с Зинаидой Райх за границу.

С «Трехгорки» меня и Володю Лавровского уволили. Кухню собирались ломать.

Мы с Володей, с Ниной, с Плучеком почти не виделись. Я сидел целыми днями над будущей пьесой о Нырятине.

И вдруг мы все встретились 17 апреля 1930 года на похоронах Маяковского. Это была тяжелая встреча.

Мы очень любили, мы обожали Маяковского, старались не пропустить ни одного его вечера в Политехническом музее и Доме печати. Мы знали, что он гений поэзии.

Вместе со всеми другими районами двинулась к гробу и Красная Пресня. Она была ближе других к Кудринской — площади Восстания, к улице Воровского. Все прилегающие улицы и переулки были запружены народом. Москва хоронила своего поэта.

Михаил Кольцов попросил подвинуться шофера на грузовике, сел за руль и повел траурный поезд.

Если внимательно и медленно смотреть кинохронику этого дня, то можно видеть идущих за грузовиком Володю Лавровского, Валю Плучека, Ниночку Барову, меня...

Через полгода с лишним в Большом Головином переулке, одним концом выходявшем на Сretenку, а другим на Трубную улицу, открылось в подвале новое театральное помещение, отданное молодому театру-студии под руководством Завадского. На открытии шла моя пьеса «Нырятин» («Идут слоны») — агитка о любви, о дружбе и о цели жизни. Над заглавием стоял эпиграф из Маяковского насчет обывательщины, канареек и коммунизма. На премьере присутствовали Луначарский, Мейерхольд, Москвин, мхатовцы, вахтанговцы, пролеткультовцы, все критики, драматурги... Главные роли играли начинающие артисты Мордвинов, Марецкая, Плятт, Туманов, Фивейский, Кубацкий, Конский и прекрасный Абдулов. Постановка Завадского. Музыка Милютин. Спектакль провалился.

То есть он не совсем провалился, были даже похвальные рецензии (например, Юзовского), отмечавшие талант исполнителей и молодость автора. Несмотря на отдельные занятые лирические и комедийные моменты, азарт исполнителей и постановщика, это, в общем, было нечто невнятное, несообразное...

На премьере в антракте меня представили Мейерхольду. Он меня, конечно, не узнал и отнесся весьма благосклонно.

После конца спектакля я вылез на сцену и, хотя меня никто не вызывал, полез целоваться с режиссером и со всеми исполнителями. Словом, вел себя как дурак. Пока не понял, что спектакль провалился. Впрочем, я был к этому готов, потому что за три месяца до этого дня пьеса моя уже успела провалиться в Ленинграде, в Красном театре Госнардома.

Я уехал на Урал, где пробыл почти год.

Перед отъездом я попрощался навсегда с Пролеткультом, с моими кружковцами на «Трехгорке», со студией Завадского, с Трубной улицей...

В любви моей к Ниночке Баровой, которая вместе с мужем и сыном уехала на длительный срок за границу, я так и не открылся.

Володя Лавровский долго хворал болезнью мозга (кажется, менингитом) и умер...

Теперь я снова часто бываю на Красной Пресне, хожу по ее переулкам: Курбатовскому, Малой Грузинской, по Валу, улице Заморенова, Мантулинской... Вижу, как преобразается этот район, окруженный со всех сторон Москвой, часть моей жизни, послужившая натурой для моей второй пьесы. Сносятся деревянные и каменные

домики — бывшие казармы и спальни Прохорова, преобразается, становится совсем другой Пресня, прокладывается проспект из высоких, стройных, светлых зданий.

Но в переулках по-прежнему мальчишки гоняют голубей в синем небе, в небе моей юности.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

В то утро я сидел в своем каупере и, обливаясь потом, дописывал последнюю картину драмы «Земля держит». Основными действующими лицами были землекопы, которые задерживают строительство, срывают планы бетонщиков, монтажников, нарушают темп жизни. Главным словом было — темпы. Быстрее! Быстрее! В планы, в сроки. Быстрее планов, сроков. А тут ленивые деревенские грабари, темные, в лаптях, ошеломленные грандиозной этой стройкой...

Ничего хорошего у меня не выходило. Скучно, уныло боролись действующие лица за создание нового человека. Фигуры были двухмерные, словно нарисованные на фанере.

А тут еще директор театра торопит: «Скорее, скорее, в сентябре мы должны открыть сезон вашей пьесой».

А пьеса что-то не идет, надо начинать все сначала.

Несколько дней назад приехал Валентин Катаев, черный, молодой, энергичный. Его привез в своем салон-вагоне Демьян Бедный да так и оставил тут. А сам укатил дальше. Катаев взял из салон-вагона чемоданчик и переехал в заводскую гостиницу. Встретив меня на лестнице, он закричал:

— Ба, знакомые все лица!

Вместе с корреспондентом РОСТА Шуркой Смоляном, спецкором «Комсомолки» Семеном Нариньяни и композитором Матвеем Блантером мы помогли Катаеву устроиться, достали ему карточки в столовую, с утра до ночи таскали по котлованам и траншеям, знакомили с инженерами, прорабами, десятниками, молодыми и старыми доменщиками, коксовиками.

Приезжала, уезжала и опять приезжала, не могла расстаться с этим удивительным городом, которого, собственно говоря, еще не было, кочевая орда писателей, кино- и фотохроникеров, корреспондентов журналов и газет — столичных, областных, районных.

Среди этой орды был и я — двадцатилетний (с хвостиком) представитель одного из многочисленных шефов — Всероссийского общества драматургов и композиторов.

Потерпев два жестоких провала, в Ленинграде и в Москве, пережив предательство театра (потом я узнал, что это называется «творческие разногласия»), растерянный и пытающийся разобраться вокруг и в себе самом, я охотно согласился поехать на Урал.

Поехал на три недели, да и остался, и жил там целый год. Писал заметки и статейки в разные органы, руководил живой газетой, написал пьесу, потом еще одну — о журналистах (впоследствии она шла в Московском театре сатиры и в Ленинградском театре комедии и называлась «Вагон и Марион»), иногда подменял корреспондента РОСТА, был секретарем вагон-редакции, выпускавшего недолгое время газету «Даешь чугуны!», жил в гостинице по очереди в номерах с корреспондентами-одиночками, а когда к ним приехали жены, был выселен на самый верхний этаж, в самую плохую и жаркую комнату. В стене проходил скрытый дымоход от кухни и котельной. Каупером назвал мою комнату Семен Нариньяни, название так и закрепилось. А каупер, к вашему сведению, — это воздухонагревающий аппарат для горячего воздуха, вдуваемого в доменную печь во время плавки.

Так вот, я сидел почти совершенно голый в моем каупере и для прохлады сорвал с койки простыню и пододеяльник, намочил их под краном и развесил на веревке между распахнутым окном, выходящим на помойку, и дверью в шумный коридор.

Думаю, что влажность воздуха в комнате доходила до ста процентов, еще немного, и хлынет горячий тропический дождь. А на улице никак не меньше сорока градусов тепла.

По очереди в каупер врывались коллеги. Пришел Катаев за чернилами, пришел Смолян за Катаевым, заглянул Нариньяни — искал прораба Заслава, ворвался Зиновий Островский, он искал сразу всех.

С криком: «Ну и жара у тебя!» — посетители исчезли, а я обливал водой моментально высохавшие простыни, макал перо в болотообразное месиво, именуемое чернилами, и пытался писать свою драму.

Почему она у меня не выходит? Нельзя сказать, чтоб я не знал строителей и землекопов. Я с ними жил долго. В чем же дело? Почему я не могу перевоплотиться в своих персонажей? Они отдельно, и я отдельно. Но я заставляю себя написать драму! Вот сейчас, вот, вот...

Без стука — дверь была распахнута — вошла Милочка. Вот уж кого не ждал.

Слесарь-наладчик станков московской ситценабивной фабрики «Циндель», Милочка была одержима театром. Окончив фабрично-заводское училище, она поступила в «мастерские» (так называлась тогда театральная студия) Пролеткульта, играла разные роли, в концертах исполняла русские народные песни и злободневные частушки, была душой нашей театральной мастерской, завоевала общее признание прекрасным исполнением роли горничной Тани в новаторской постановке «Плодов просвещения» Толстого. Новаторство заключалось в том, что через весь спектакль проходил танец полотеров. Четыре молотца в выпущенных поверх портков холщовых рубахах под звуки польки натирали полы в барском доме.

Я играл лакея Григория, ленивого, лживого и развратного парня, презиравшего господ, находящегося в тайной связи с барыней (в новаторской трактовке режиссера), совращающего горничную Таню. Первую реплику пьесы: «А жаль усов!» — я произносил, держа в руке зеркало и рассматривая на своем лице огромные рыжие усы с подусниками.

Сейчас мне трудно сказать, какой это был спектакль. Наверное, плохой. Не в этом дело. Всех очаровала Таня — Милочка. Была она юна, озорна, трогательно заботлива к своим землякам, обожала двадцатилетнего буфетного мужика Семена...

А потом вдруг закрылась наша театральная мастерская, а следом за ней и весь Пролеткульт. А я еще за полтора года до этого покинул здание на Садово-Триумфальной площади. Милочка исчезла с моего горизонта. Кто-то мне сказал, что она вернулась на свою фабрику и заворачивала там всей художественной самодеятельностью. И вдруг — вот она, собственной персоной.

— Здорово, курносый! — так она меня называла. Она была юмористка. Приехала в командировку от Центрального Комитета комсомола налаживать самодеятельность. Привезла два ящика всякого барахла: балалайки, комплект «Синей блузы» — пятьдесят сборников, ноты, парики, грим, бороды и инструкции.

— Будешь помогать мне?

— Конечно. Как же ты все это дотащила?

— А я приехала не одна. Вместе с Альбертом Душенко. Знаешь такого? Он сказал, что вы учились в школе юниоров Театра Революции, еще до Пролеткульта. Теперь он, так же как и мы с тобой, бросил актерство навсегда. Он большой профсоюзный босс, работает в Центральном совете строителей.

— Где вы остановились?

— В комсомольском бараке, у самой речки.

В пролеткультовские времена я был влюблен в Милочку. Немножко. Не до потери сознания. Писал ей стихи, считал, что она вполне может стать кинозвездой, как Анна Стен или Мэри Пикфорд. Как-то провожал ее после репетиции ночью до фабрики «Циндель», рядом с которой она жила, расписывал ее будущую карьеру и обещал познакомить с режиссером Рошалем.

А потом как-то позабыл о ней, отвлекли разные дела, пьесы, Всероскомдрам, «Синяя блуза», клуб «Трехгорки»... Тогда она была совсем девочка, в красной косынке, со стриженными волосами, в кожаной куртке, прямо с плаката «Комсомол, на стройки первой пятилетки!».

— Мне говорили, что ты нуждаешься, тебе никто не платит зарплаты и суточных, что у тебя совершенно нет денег, как же ты живешь?

Я показал на мокрую простыню и пододеяльник.

— Да, Милочка! Я беру в стирку белье. С прачечными тут обстоит плохо, быт пока не организован («пока» — тоже было любимое здесь слово). Люди все заняты ужасно, с зари до зари на стройке, жара, бани нет, ветер, бураны, воду в бочках возят. А времени у меня свободного много. Мыла я достал в заводоуправлении целый ящик. Вот и постирываю понемногу. Сушить негде, приходится в комнате. Или на крыше.

Она с любопытством взглянула на крышу, но там, кроме старого кота, ничего не было.

— И выгодно! — продолжал я, перевоплотившись в прачку. — Пятнадцать копеек простыня, десять — полотенце, пододеяльник — двадцать копеек.

— Это невозможно, — возмутилась Милочка. — Старый пролеткультовец берет в стирку белье! Я добьюсь, чтоб тебя взяли инструктором по самодеятельности, положили зарплату.

Милочка была доверчива и бескитрозна. Она хотела облагодетельствовать все человечество, и в первую очередь бывших пролеткультовцев. Я еле убедил ее, что это шутка, что я человек скромный и почти без потребностей, здесь карточки и сужой закон, вина и водки нет и в помине, самогонщиков и шинкарей преследуют, жизнь дешевая.

Мы пошли с ней гулять. Она рассказала о том, как в Доме профсоюзов на Солянке познакомилась с Альбертом Душенко, как он уговорил ее поехать сюда, какой он умнейший, благородный и цельный человек, что подобных она еще не встречала, как он хорошо поет и играет на всех инструментах. У него даже тут с собой маленькая гармошка-черепашка, на таких, знаешь, в цирке играют клоуны-эксцентрики.

— Он и есть клоун-эксцентрик! — закричал почему-то я. Наверно, из ревности.

Послушать ее, так Альберт — это воин, красавец, гигант, атлет, вождь, трибун. Но я-то его хорошо знал. Целый год мы с ним учились и выступали в Театре Революции, играли восставших рабочих и полицейских, лакеев и прохожих. Это очень низенький, прыщеватый, нескладный, непропорционально сложный, робкий и застенчивый человек. Правда, я его давно не видел, но мог ли он за пять лет стать другим? Вряд ли. Неужели между тобой, Милочка, и этим Альбертом что-то...

Она не отвечала, и мы шагали по берегу мелководной речки, узенькой и грязной, обгоняемые грузовиками, тарантасами, двуколками, запряженными низкорослыми башкирскими лошадками, грабарками и пешеходами, спешащими на стройку землекопами, бетонщиками...

Сколько на стройке тогда работало людей?

По одним сведениям, пятьдесят тысяч, по другим — семьдесят, по третьим — сто пятьдесят... Точно не было известно никому, ибо

каждый день количество строителей менялось. Приезжали из окрестных сел, из казачьих станиц, из Башкирии, Казахстана, Киргизии, с берегов Байкала, Волги, Иртыша, с Украины, из Белоруссии, откуда только не приезжали!

И уезжали многие, не увидев здесь того, на что надеялись: многоэтажных домов с горячей водой и со всеми удобствами, магазинов, рынков, золотых приисков, тысячных заработков, разлитого моря самогона и браги. Жили во времянках, в бараках, в палатках...

Вот уж кончился поселок строителей. Дальше одиночные палатки, на далеком расстоянии одна от другой. И одичавшие голодные собаки.

Мы с Милочкой все шагаем и шагаем, и она рассказывает о «Цинделе», о «Синей блузе», о любви к театру и к живой газете. Об Альберте мы совсем не говорим, мне эта тема неприятна.

Так она мне заморочила голову своими рассказами, смехом, жизнерадостностью, жалостью ко мне, что я вдруг ни с того ни с сего стал просить ее руки. Я умолял ее переехать в мой каупер, кричал, что не в силах больше сносить одиночество холостяцкой жизни. Я обещал исправиться, поступить на службу и регулярно получать зарплату, говорил, что я еще не очень стар, что могу выдержать экзамены в медицинский институт, стать хирургом, получать стипендии.

Она тоже что-то говорила, но я не слышал. Мы говорили оба, не слушая друг друга, поднимая столбы пыли, почти бежали по шоссе, и по берегу реки, и опять по шоссе. Я излагал гигантские планы нашей будущей жизни с путешествиями, циклами пьес и романов, учебой, новым театром, который мы откроем здесь и который прославится на весь мир.

Наконец, истомленные многочасовой прогулкой, голодом, жаждой, жарой, шумом и грохотом на шоссе, мы остановились. Я взял ее руки в свои, потом схватил за плечи.

— Я заставлю тебя, Милочка, переменить мнение обо мне.

— Но я и так очень хорошего мнения о тебе, курносый.

Милочка улынулась.

— Ну так как? Решено? Переезжаешь ко мне?

Милочка широко раскрыла глаза:

— Зачем?

— Выйдешь за меня замуж.

— Но я и так замужем.

— За кем?

— Разве я тебе на сказала? За Альбертом. Перед самым отъездом сюда мы расписались. Ехали шесть суток. Значит, сегодня ровно неделя.

Меня завертело, закружило, затошнило.

— Зачем ты это сделала?! Как ты могла! Ведь я так ждал тебя!

Милочка удивилась:

— Ты меня ждал? Разве ты знал, что я еду сюда?

Нет, я этого не знал. Я вообще за последние два года ни разу не подумал о ней. Но сейчас мне показалось, что все эти годы я думал только о ней, что именно она занимала все мои помыслы, что только ради того, чтоб встретиться с ней, я поехал на Урал.

Еще с тех пор, как я в семилетнем возрасте вышел на сцену в опере Даргомыжского «Русалка» в роли маленькой русалочки и прокричал: «Я прислана к тебе, любезный князь, от матери моей нарочно», — и действительно вообразил себя дочерью царицы Днепра, склонность к перевоплощению была мне свойственна.

Я перевоплощался по всякому поводу и без всякого повода: в Лешего, в дядю Макса, в баса Цасевича, в моего отца, в военкомовского мерина Буланого, в индюка из отцовского курятника, в артиста Петипа, в персонажей из виденных и прочитанных пьес.

Долго находиться в одном образе я не мог: становилось скучно. Тогда я мгновенно перевоплощался в партнера моего героя. Почти одновременно я был Отелло и Дездемоной, Онегиным и Татьяной, Поташем и Перламутром, Тильтилем и Митиль. Наверно, это плюс отсутствие таланта (это я пишу из скромности) помешало мне стать актером. Малейший повод заставлял меня тут же, без всякой подготовки, перевоплощаться. Не то чтобы играть или притворяться каким-нибудь персонажем, а именно становиться им.

С годами эта склонность к перевоплощению стала исчезать. Наоборот, я изо всех сил старался быть самим собой. Но какой я С А М С О Б О Й? Я этого не знал. Знал только, что бывают минуты, когда нужно стараться Н Е Б Ы Т Ь С О Б О Й, преодолеть что-то, когда грустен — заставить себя стать веселым, когда больно — не показывать.

А тут, во время прогулки с Милочкой, на меня вдруг накатило это самое перевоплощение.

Я заплакал, зарыдал, затрясся. Сам не знаю, что со мной произошло. Я вдруг рассказал ей (и поверил в это), как долго и нежно любил ее еще в Пролеткульте, как торчал у подъезда и ждал минуты, чтобы проводить, гордился, когда она изображала Таню и была умнее и благороднее всех персонажей «Флодов просвещения». Это потому, что она и на самом деле была умнее всех и благороднее.

Как же я был несчастен, узнав, что она связала свою судьбу с Альбертом, с этой презренной «Бертой».

В те годы было модно в театральных кружках и киностудиях называть молодых мужчин женскими именами. Среди нас, мужиков с первой растительностью под носом и с ломающимися голосами, были Люси и Люли (Алексей и Леонид), Зины (Зиновий), Наташи (Натан), Тони и Аси (Антон и Алексей), Моти и Пани. Я был, например, Дора. А Душенко Альберт был, конечно, Бертой. Так вот, за эту презренную Берту?..

Откуда у меня только взялось! Я умолял Милочку немедленно расторгнуть брак с Душенко, рыдал и проклинал их связь.

Сперва Милочка смотрела на меня, как на сумасшедшего. А потом, знаете, неожиданно поверила. К счастью, ненадолго. Поверила и тоже заплакала. На мгновение ей показалось, что все обстоит именно так, как я говорил, что произошла катастрофа и она загубила свою молодую жизнь на корню.

А я, обуйанный бесом, каркал, что ничего хорошего из их брака не выйдет, что это блеф, афера, очередное жульничество этого паяца Душенко. Мы синеглазники, мы профсоюзники! Максимум полгода продлится их брак, в котором оба будут глубоко несчастны и о котором очень скоро постараются забыть.

И вот мы с Милочкой стоим на берегу реки.

А чуть подалее палатка.

И мы смотрим на реку, на палатку, друг на друга.

И прошло сорок два года.

Мы с Милочкой читаем выбитые на постаменте бетонной палатки — памятник первым строителям города и завода — стихи, произведение местного поэта. О том, что мы жили здесь сорок два года назад, что палатка была тогда брезентовая, а не бетонная, как сейчас, и в ней было прорезано оконце, в которое вставлено зеленое стеклышко, а брезент палатки был множество раз промыт дождями и высушен солнцем... У входа в палатку дымился костер, защищавший от гнуса и комаров, а над костром висел закопченный чайник. Вокруг палатки выли четыре ветра, и самый зверский был южный, гнавший песок из степей. Вода в реке бурлила и несла свою рыжую накипь. Теперь река была широкая — три проточных озера, одно за другим, не меньше километра ширины, будто Нева. Через реку вели три просторных моста-перехода, навстречу нам катили машины всех марок, бежали автобусы, трамваи. Переходы соединяли левый берег с новым городом на правом берегу. На обоих берегах проживает четверста тысяч людей.

Мы стоим на правом берегу и не обращаем внимания на дымы, и на дождик, и на высокое уральское небо, и на очертание знаменитой горы.

— Ты помнишь, курносый, — Милочка все еще держится своего юмора, — помнишь, как мы пекли в золе картошку, которая была такой же редкостью, как клубника? А потом репетировали: «Мы в домнах и мартенах расплавим наш металл и этим непременно угробим капитал».

— Альберт здоров? — осторожно спрашиваю я.

— Да, он здесь. Он прилетел раньше меня и поехал в короткую командировку на заводы-поставщики по своим профсоюзным делам.

— Давно я его не видел.

— Он болел. Как, впрочем, и ты. Мы с ним очень за тебя волновались. Что тебя занесло сюда? Я прочитала в газете, что ты

прибыл собирать материалы для новой пьесы. Ну как, получается?

— Нет пока.

— А я прилетела только вчера. Альберт не встретил меня, и я ужасно волновалась. Оказывается, все благополучно, срочное задание по профсоюзной линии. Зато меня встретили две сестры, их мужья, дети и даже два внука. Вот как у нас! У младшей сестры дочь невеста, сегодня выходит замуж за сменного инженера с листопрокатного. Хороший парень, знающий, только что окончил аспирантуру, собирается защищать кандидатскую, наверно, в будущем году. Я тебя сегодня вечером возьму на свадьбу и со всеми познакомлю. Знаешь, сколько у меня здесь родственников? Шестнадцать. Конечно, считая с зятями, их родителями, со сватами и золовками. Всех увидишь.

Я тут же перевоплотился в почтенного старика, утомленного своей известностью, но тем не менее простого и чуткого, ветерана, мудрого и улыбочатого.

— Смогу ли я помочь супругу твоей племянницы? Хочешь, я поговорю с директором комбината или с заместителем министра?

— Не нужно, Игорька и так все ценят. Увидишь, какой это прекрасный малый.

Мы идем на левый берег, в гостиницу. Милочка ходит быстро, молодо. Я тихонько, прихрамывая, стараюсь не отстать.

Она говорит о своих родственниках, о каждом из шестнадцати, долго и подробно. А я стараюсь перевоплотиться во внимательного слушающего старого друга. Но все отвлекаюсь, не могу заставить себя сосредоточиться. Так неожиданна и безумна эта встреча.

Единственное, что я понимаю, — она уже не работает, ни на «Цинделе», ни в самодеятельности, нигде. Альберт более десяти лет находится на Севере. Она поехала к нему. Долго они жили на полуострове, а в середине пятидесятых годов вернулись в Москву. Альберта сразу заграбастали профсоюзы, загрузили по уши всякими заданиями, но искусства он все равно не бросает, руководит драмкружком во Дворце строителей.

Судя по ее рассказу, они жили очень хорошо, были нежными супругами, заботились о чужих детях, а своих у них не было.

О том, что происходило здесь, на этом берегу, сорок два года назад, ни Милочка, ни я не вспомнили.

Милка покидает меня, пообещав вечером вместе с Альбертом заехать за мной в гостиницу.

Я сижу в номере один. Смотрю в окно, во дворе что-то горит в железном ящике, очевидно, мусор, облитый соляркой.

Открываю дверь и силой страстного желания перевоплощаюсь в двадцатилетнего (с хвостиком) корреспондента центральных газет и секретаря многотиражки «Даешь чугуны!».

Чем могу я помочь этой великой стройке, в которой участвует вся страна, да и не она одна? Здесь полно специалистов из Германии,

Америки, Италии. Оборудование для будущего гиганта едет по железным дорогам, мчится по воздуху, ползет на гусеничных колесах своим ходом.

Да и нужна ли здесь моя помощь?

Что я знаю, что я умею, что окончил? Профшколу строительной специальности, да и то не сдал выпускных экзаменов.

Однако очень скоро при помощи вагон-редакции, старших газетчиков и дружащих с нами инженеров и ударников-рабочих я начинаю понимать строительство, доменный процесс, коксохим, добычу руды, внутризаводской транспорт. Вдруг мне открываются чудеса монтажа сложнейших механизмов. Теперь уж я сам даю консультации приезжающим журналистам и писателям.

Рядом со мной, в других номерах гостиницы, уединились Катаев и Смолян. Они колдуют и на большом листе картона делают выкладки: сколько замесов в смену может дать бетономешалка «Егер» и сколько «Рансом».

А в соседнем номере Семен Нариньяни, Зиновий Островский, прораб Мишка Заслав и машинист экскаватора Чурак высчитывают, как четыре скупых рыцаря, сколько будет стоить кубометр вынутой земли при переводе «Маршон-12» на хозрасчет. Выходит, что вместо прежних одного рубля тридцати одной копейки получится рубль двадцать две. Будто это их копейки.

Результаты соревнований, олимпиад, состязаний механизмов и участков, бригад и городов будут описаны потом в романе Катаева «Время, вперед!», в книге Нариньяни «Звонок из тридцатого года», у Малышкина, у Воробьева, у Богданова, у Авдеенко... Сейчас же еще этих книг нет, авторы готовят натуру для них. Это не просто созерцатели и описыватели, это еще и организаторы натуры.

Гостиница наша выкрашена в ярко-малиновый цвет. Потом, через сорок два года, ее покрасят в темно-зеленый, и вокруг будут заросли сирени. Теперь же о сирени и думать нечего, какая там сирень! Ведь это самый молодой город, вырастающий в степи...

Пора возвращаться в семидесятые годы.

Я готовлюсь на свадьбу и беру у дежурной электрический утюг, глажу брюки, чищу пиджак, поглядывая на часы. Нет, рановато. Приглашен на семь. А спать поздно. Прогулка с Милочкой здорово меня утомила.

Однако еще больше утомляет мысль о том, что придется целый вечер сидеть за столом, отказываться от коньяка, беседовать с совершенно незнакомыми людьми, выслушивать и произносить тосты, улыбаться, жать руки и кричать «горько!».

Хоть бы не вернулась из своей командировки Альберт и забыла обо мне Милочка. Вот бы хорошо. Я смог бы погулять один по городу, вспомнить...

Но без четверти семь стук в дверь. Милочка приехала за мной на такси.

Альберта все еще нет. Он даже не позвонил. Синоптики предсказывают грозу, ливневые дожди, циклон. Милочка беспокоится.

Сорок два года она беспокоится о муже. Да и не о нем одном. О сестрах, о всех своих родственниках, стариках и юношах, обо всех.

— Но ведь ты слесарь-наладчик, большой специалист, активистка-комсомолка, талантливая актриса, ты была украшением нашей мастерской, тебя любой театр принял бы. В чем дело, почему ты осталась не у дел, только жена своего мужа, старшая сестра, свояченица, сноха, невестка, золовка и больше никто?

— Видишь ли, курносый, в каждой семье обязательно есть человек, который живет только ради своей семьи. Кто-то должен объединять всех, навещать, заботиться, быть в курсе жизни всех. Конечно, это неправильно, при полном коммунизме так не будет. Но пока что... Ну вот заболит кто-нибудь, кто-нибудь родит, кто-нибудь защищает диссертацию, а кто-нибудь уезжает в далекую командировку, и некуда девать детей, кто-нибудь готовится к рекорду, а кто-нибудь приехал, а кто-нибудь поссорился, и дело доходит прямо-таки до развода. Ну вот все сразу к тете Милочке, спасай, старуха! И старуха появляется. Ты знаешь, как трудно было организовать сегодняшнюю свадьбу на сорок человек? Но я нашла большую квартиру, купила продуктов, вина, связалась с рестораном, выписала невесте свадебное платье из Польши, там у меня подруга детства. Ты увидишь, как будет сегодня хорошо. Только бы Альберт... Смотри, какие тучи, кругом все обложилось, наверно, на дорогах потоп, гроза, как бы он не попал...

— Вернется твой Альберт, — с неожиданным раздражением говорю я. — Вернется... А может быть, мне неудобно ехать на свадьбу? Тем более с пустыми руками, цветов здесь купить негде, я пытался. У вас там все родные, друзья, все знают друг друга, а я...

— Очень удобно. Они все слышали о тебе, ждут. И Альберт будет рад...

Милка права. Меня встречают радушно, сажают на почетное место, а потом очень быстро забывают и начинают говорить о своих делах. О комбинате, о листопрокатном, о конструкторском бюро, о новых двоемных ваннах на мартенах, о людях, которых я совсем не знаю.

Милочка хозяйничает и все посматривает на дверь, на окно.

Вода и ветер грозно обрушиваются на город. Одиннадцатый час, сказаны все тосты, поцелуи произведены, пожелания изложены, Альберта нет.

Молодой муж звонит в милицию, там у него работает друг, узнает, нет ли каких дорожных происшествий. Звонят в городок, где в командировке Альберт. Он выехал еще днем, после обеда. Я стараюсь отвлечь Милочку от мрачных предчувствий, начинаю рассказывать об

этом городе — каким он был сорок два года назад. Рассказ мой никого не удивляет и не потрясает. Знаем, знаем, тысячи раз слышали и читали о бараках, палатках, комсомольцах, штурмах.

Из вежливости меня не перебивают. Но слушают без всякого интереса. Это естественно. Большинство гостей родились гораздо позднее описываемых мною событий. Конечно, интересно, но сколько можно?!

Тогда, чтоб поддержать интерес ко мне и отвлечь Милочку, я перехожу на другую тему. Я рассказываю о своих встречах с великими людьми, о том, как я видел Есенина, ходил на все вечера Маяковского, встречал Горького, видел Станиславского, хорошо знаком с Райкиным... Тут уж меня вовсе перестают слушать и потихоньку разговаривают о своих делах. И мне становится грустно. Я так хотел провести сегодняшний вечер с Милочкой и Альбертом. Но Милочка на кухне, хлопочет, ей не до меня. Альберта нет и нет... Думаю об Альберте.

Когда я чувствую себя одиноким, вижу, что никому до меня нет дела, я перевоплощаюсь и летаю из одного времени в другое, легко преодолеваю тысячи километров, десятилетия, возраст. Сейчас я улетаю в тысяча девятьсот двадцать пятый год, на комсомольское собрание в Театре Революции. Идет вопрос о вступлении старых комсомольцев в партию. Из речи Фимки Хвесина я узнаю, что Берта был рабочим на гвоздильном в Елисаветграде, где дружил с такими же, как он, первыми комсомольцами города, юными поэтами Михаилом Светловым и Михаилом Голодным... А потом — низенькая комнатка в Охотном ряду, и среди штаба синеглазых, готовящих программу к десятилетию Октября, и он, Берта, руководитель одной из групп.

...А потом здесь, на Урале, сорок два года назад, вместе со всеми трамбовцами, прямо с репетиции мы бежим на доменный участок, где вода заливает котлован. Работаем до утра, а потом еще сутки Альберт по пояс в ледяной воде откачивает воду, роет траншею для стока подпочвенного ключа... Потом две недели болеет ангиной.

В темной, опустевшей Москве первых месяцев войны я встретил его на улице Горького. Он бежал на призывной пункт вместе с собственной ложкой и кружкой. Маленький, расстрепанный, очень возбужденный, он помахал мне рукой:

— Прощай, старик!

Он был политруком истребительного батальона, попал в окружение, потерял две трети батальона, вернулся в Москву, был представлен к ордену, не успел получить его, был отправлен на Восток, потом на Север. Там трудился на руднике, спасал людей от голода и цинги, сам делал за многих тяжелую работу, вновь соединился с Милочкой, вернулся в Москву, опять послан на свой старый пост в профсоюз, организовал театральный коллектив во Дворце строителей, где ставил разные пьесы, в том числе и одну мою.

Так уж повелось, что профсоюзных деятелей обычно выводили в театре, в кино, в рассказах как персонажей комических. С туго набитым портфелем, суевливая, малограмотная и в общем-то мало кому нужная личность. В самом деле — у нас государство рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Зачем же еще этот профсоюзник? Кого и от кого он должен защищать?

Однако об Альберте Душенко никто так не думает. Наоборот! Он являет совсем новую фигуру. Защитник неотъемлемых прав строителей, враг несправедливостей, которые еще случаются, невнимания к нуждам производства и быта.

Восьмой год ездит по Уралу, следит за точным, буквальным выполнением договоров, за техникой безопасности, за борьбой с нарушителями чистоты земли, воды, воздуха.

Милочка мне сегодня рассказывала, как он успел насмерть поссориться с директором комбината, своим бывшим другом, тоже первым пришедшим на стройку вместе с Альбертом, и жившим с ним в одном бараке, и спавшим на одной койке.

Дирекция отдала приказ об уплотнении жилищной площади сталеваров, выселении всех, кто, проживая в ведомственных домах, утратил связь с комбинатом, о подселении в малозаселенные квартиры вновь приехавших рабочих, не имеющих жилплощади.

Альберт доказал, что право жить в благоустроенных и комфортабельных квартирах нужно заслужить многолетним трудом, нельзя оптом расселять, заселять, не разобравшись в каждом отдельном случае, а если рабочий стал портным или кондуктором, он так же нужен городу, как и горновой.

Врагов он наплодил множество, но добился и очистных сооружений, и справедливости в распределении квартир, и увеличения строительства домов...

И вот такой человек... Почему никто сейчас не говорит о нем, никто не волнуется? Все занято своими ничтожными делами.

Часы бьют двенадцать.

Я бегу на кухню. Там Милочка раскладывает на блюдечки пломбир. И я взрываюсь. Я начинаю ее ругать черными словами, я возмущен ею. Почему она не едет на розыски, почему она так спокойна?!

— Но я уже привыкла, что он всегда где-нибудь задерживается, опаздывает.

— Ты никогда не любила его, я давно подозревал. Какую он сделал глупость, женившись на тебе, — изобличаю я Милочку.

— Замолчи, курносый!

Она не слушает меня и разносит пломбир. Затем отзывает в сторону седовласого зятя и молодого мужа.

Втроем они одеваются и собираются куда-то ехать на машине зятя. Я тоже одеваюсь. Я тоже поеду с ними. В конце концов, я раньше всех знаком с Бертой, раньше всех! Я знаю его сорок восемь лет.

Звонок из автоинспекции. Действительно, во время ливня было несколько катастроф на западном шоссе. Количество жертв и фамилии выясняются.

Впопыхах я не могу найти мои ботинки. Я их ищу и вдруг молча начинаю молиться. Господи, молюсь я, спаси этого проклятого Берту, а то ведь, если он погибнет, я никогда в жизни не найду себе покоя, господи, спаси его...

И чудо происходит. Открывается дверь, входит Альберт. Грязный до самых бровей, улыбающийся и мокрый.

Он аккуратно, еще на лестнице, снимает заляпанные грязью ботинки, здесь, на Урале, все так делают. Уходит в ванную, умывается, возвращается в большую комнату, отмахивается от Милочки: «Ну задержался, и все!» — выпивает штрафную, целует молодых, подходит ко мне.

— Привет, Дорочка!

— Привет, Берточка!

Ласково треплет меня по уху. Он маленький, еле достает мне до плеча.

Внучатый племянник густым басом кричит:

— За здоровье дяди Берты!

Дядя Берта делает жест Милочке. Та без слов понимает его и приносит крошечную гармошку-черепашку, с которой обычно выступают в цирке клоуны-эксцентрики.

Альберт запекает песню о том, как «попид горою, попид зеленою казаки идут, а попереду Дорошенко...». Играет он на черепашке виртуозно и поет неплохо. Оказывается, у него баритон.

Затем он долго и жадно ест, и Милочка смотрит на него своими лучистыми и преданными глазами. Как она его ждала, и как волновалась, и как не показывала этого!..

И тут мне ужасно захотелось перевоплотиться. В Берту Душенко. Хоть ненадолго, хоть на десять минут.

Но было уже поздно, и я утратил свойство перевоплощаться.

С тех пор я никого никогда не уговариваю не выходить замуж...

Я начал свой рассказ с того, что сорок два года назад писал последнюю картину драмы «Земля держит» и у меня никак не получалась. Теперь я понимаю, почему не получалась. И еще многое понимаю... Впрочем, после того как пьеса была поставлена и прошла раз шесть или семь, была хвалебная рецензия, и пьеса в общем-то провалилась, и мы никогда с Альбертом не вспоминаем о ней при встречах, дружба наша продолжается и будет продолжаться всегда. С ним, с Милочкой и с этим странным городом на границе Азии и Европы. Всегда, пока мы живы. И даже немножко после.

ЭСКИЗ РОМАНА

Тереза Горобец ударила по клавишам. Рояль сыпал трели и ронял аккорды. Я, объявленный конференсье как артист-мелодекламатор Исидорский, открыл рот и прошептал:

- Любовь — это сон упоительный.
- Чего, чего? — закричали в публике.
- Сон! Упоительный! — повторил я.

Тереза опять стукнула по клавишам.

Я разевал пасть, как карась на столе. Публика шумела. Чем больше я старался, тем страннее звуки вырывались из меня. Так я стоял у рояля с накрашенными губами, густо напудренный, со страдальческими, устремленными к переносице нарисованными бровями, в кофте Пьеро и с черным чулком на голове. Пытался под музыку рассказать монолог из «Принцессы Грезы» Ростана. С каждой буквой у меня пропадал голос и очень быстро пропал совсем. Я вращал глазами и вздымал руки. Публика хохотала. Тереза играла изо всей мочи. Раздались свистки. И я покинул сцену.

Что было потом, я расскажу. Но сперва то, что было до этого.

До этого был фурункулез. Четыре фурункула рдели под мышкой, называлось это «сучье вымя». Болела вся рука, температура доходила до тридцати девяти, тошнило. Я прикладывал сырой лук, листья подорожника. Не помогало.

В шестнадцать с половиной лет, когда живешь на даче под Харьковом, в местности, называемой Зеленый Гай, когда знаешь, что это последнее лето под родительским кровом и скоро поезд умчит тебя в огромную столицу, где ты будешь учиться в студии Художественного или другого театра и скоро станешь знаменитым на всю Россию, — все кажется призрачным, как бы нарисованным на тюле. Жаркие южные ночи, мечты о будущем, страстное желание влюбиться в кого-нибудь, неурядицы в семье и этот фурункулез еще...

Готовясь к вступительным экзаменам в Москве, я учил стихи Блока, Брюсова, Надсона, Волошина, Ростана, Каменского, все, что попадалось под руки. Но стихи от сучьего вымени не помогали. Помогали только свежие пивные дрожжи, которые в бутылках мне привозил раз в три дня отец из города.

Вместе со мной готовился ехать в Москву и стать знаменитой артисткой костюмая и поэтичная Тереза Горобец, дочь известного профессора музыки и хорошая пианистка. А также Мишка Э., ставший впоследствии популярным кинорежиссером, Захар С., ставший вскорости журналистом, затем хорошим писателем, редактором толстого журнала, и Володя К., именуемый нами почему-то Тарасом Трясило. Вот Володя-то и сделал гигантскую карьеру, стал электротехником, окончил два института, работал с Шателеном

и теперь, кажется, академик. Никто из нас так и не стал актером. Из пятерых — никто. Ну это, наверно, правильный процент. Тогда мы еще не знали своей будущей судьбы.

Перед отъездом в Москву решили дать в музыкальной раковине Зеленого Гая концерт. Вход пять копеек. Места не нумерованы.

Мы волновались. День начался скверно. Сперва шел дождь, потом вдруг разразилась такая жара, какой не было сто лет. Приехал из Харькова на поезде отец. Из-за жары у него в вагоне взорвалась бутылка с пивными дрожжами, и на светлом чесучовом костюме кусками лежали выскочившие из бутылки взбесившиеся дрожжи. Они же висели на усах и на брюках. Чертыхаясь и соскребая с лица следы аварии, он с омерзением посмотрел на мои приготовления к вечернему концерту. В актерские мои таланты он абсолютно не верил. В моих товарищей тоже. Но Тереза Горобец ему нравилась. И папа ей нравился тоже. А я был влюблен немножечко, чуть-чуть в Терезу. В дальнейшем эта тема не имела никакого развития.

Я зубрил монолог из «Принцессы Грезы» насчет упоительного сна, бинтовал больную подмышку, рисовал и стирал на лице страдание. Потом выпил холодной воды из колодца, и у меня сел голос.

Все остальное вы знаете.

Я бежал из музыкальной раковины Зеленого Гая в поля, к речке, на станцию, ко всем чертям... Мне казалось, что следом за мной бегут и улюлюкают все зрители, заплатившие по пять копеек за вход.

Что там следом за мной делали Тереза, Мишка, Захар и Тарас Трясило, я не знал. Кажется, показывали фокусы, танцевали, пели частушки, и все кончилось очень мило. Я этого не видел...

Через три месяца, в Москве, я брел по аллеям Петровского парка. В руке лубяная коробка — в ней находилось все мое нехитрое имущество. На голове ковбойская шляпа «Гарри Пиль». На ногах шашечные гольфы «Гарольд Ллойд».

Только что меня выселили из деревянной одноэтажной хатки, где я жил у друга отца. Я искал нового пристанища.

Шел по Башиловке, по Масловке, По Петровско-Разумовскому проезду, по Большой и по Пневой улице, по Старому Зыкову... Деваться мне было совсем некуда. Каждый день я проваливался на экзамене в какую-нибудь студию. Уже провалился в школу Малого театра имени Ермоловой, в ГИТИС, в студию Шалапина, Завадского, Глазунова, Вахтангова, МХАТа, циркового искусства. Но неожиданно зацепился в школе юниоров при Театре Революции. Однако общежития там не было. Погруженный в эти мысли, я подбрасывал ногами сухие листья и бессмысленно разглядывал белые записочки на стеклах окон. Но там все «продается дом», «продается часть дома», «продается сука дворовая». А о том, что сдается угол, — ни слова.

Вдруг за желтым деревом, с балкона деревянного домика, я услышал:

— Любовь — это сон упоительный!

И голоса — женский и мужской, — кличущие меня.

— Мелодекламатор! Исидорский!

— А я вас ищу!

На балконе стояли Тереза, Мишка и Тарас Трясило.

— Я вас потерял. А справиться не у кого: вы не прописаны.

Они жили тут вчетвером. Только Захар успел уже жениться и проживал то здесь, то у молодой жены на Зацепе. Какое счастье, что я их встретил! Теперь я буду с ними. Где спать? А не все ли равно? На полу, на газетах, в сенях, на коврике, без коврика...

Мы ели воблу, болтали, смеялись, вспоминали, предполагали.

Явился Захар с молодой женой, потом ушел, и я воцарился на его койке.

Со двора неслись граммофонные звуки цыганского пения.

Вокруг стола в саду, за большим самоваром, сидела семья: черный, как ворон, хозяин — старый цыган, его жена и четверо детей — две девочки и два мальчика. Они пили чай и слушали граммофон. Потом две девочки, лет девяти и одиннадцати, выбежали из-за стола. За ними побежал их старший брат, парень лет двадцати, и вернул их к столу. Они о чем-то кричали на своем языке, но о чем — не знаю, я тогда еще не понимал их языка. Младшую девочку брат схватил за косу.

Петровский парк и все прилегающие к нему районы были странным государством. Роскошные особняки миллионеров рядом с дряхлыми хибарками, рестораны «Аполло», Скалкина, «Яр», «Стрельня», «Эльдорадо» с цыганскими хорами, с извозчиками на дутых шинах, с кавалькадами велосипедистов, с кинофабрикой, с подпольными игорными домами, с нищими, проститутками и с большим количеством рабочего люда, самого настоящего пролетариата, работавшего на заводах и фабриках Пресни, Всехсвятого, Покровско-Стрешнева... Здесь жили некогда кочевые, а теперь оседлые цыгане. Давно уж они перестали бродить по полям, а дома, где жили цыганские кланы Лебедевых, Поляковых, Маштаковых, Пановых, Панкиных, Тимофеевых-Хрустальных, Золотаревых, Ивановых, Соколовых, все по старой памяти назывались «таборами». Отсюда шли знаменитые певцы и певицы, танцоры, гитаристы. Здесь жили и гремели на всю Москву Ольга Кленка, Соня Арапка, Дуня Соловей. Артистки неповторимые!.. Как мы были влюблены в них, как жадно смотрели, вспоминали стихи Блока о Кармен...

Цыганская семья за столом пополнилась новыми гостями. Граммофон умолк, но зато теперь пели все. Пели цыганские старинные, таборные, русские песни на цыганский лад... Мы — Тереза, Мишка, Тарас Трясило и я — присоединились к хору. Пили чай из самовара, потом наливки, ели жареную кровь с греченой кашей — национальное блюдо, именуемое «рат». Рат — по-цыгански это кровь и это ночь.

Дети сидели рядом со взрослыми. Вокруг ходили огромные собаки, сбежавшие сюда со всего Зыкова, и грызли кости от студня...

Две черненькие девочки все не хотели идти спать, а их старший брат, рябой черт, ругался и гнал их в дом...

Как они пели, цыгане! Как звучали в ночи гитары! В ту ночь я услышал знаменитые «Дохан», «Синее море», «Ручеек», «Слободушку», «Маларку», «Фортэс», «Пусть я страдаю...».

Много слышал я в своей жизни концертов, но такого никогда и нигде. Они пели и играли для себя, только для себя... Все возможные в природе человеческие голоса выражали все возможные у людей чувства — горе, страдание, радость, счастье, ожидание...

Это вам не «любовь — сон упоительный»...

Недолго жили мы с цыганами в Зыкове. Тереза поступила в консерваторию, Мишка, Захар и Тарас уехали в Ленинград и стали там инженером, врачом, ученым. Актерами не стали.

Я кочевал по Москве, по свету, актером тоже не стал.

Когда кончалась война, судьба вновь свела меня с цыганами. Я стал заведующим литературной частью театра «Ромэн».

В самом конце войны... Дни и ночи проводил я в этом удивительном театре. Поправлял и редактировал чужие пьесы, писал свои, привлекал к театру писателей... Там влюбился. Там женился на актрисе театра...

Когда дочери нашей исполнилось два года, меня вызвали в Ленинград на премьеру моей пьесы в Академическом театре имени Пушкина.

Пьеса была посвящена великому русскому ученому, изобретателю электрического освещения. Каковы же были моя радость и волнение, когда на генеральной репетиции я встретил Тараса Трясило. Его привел консультант спектакля профессор М. На премьеру пожаловали маститые Захар и Мишка с женами. После премьеры был банкет в «Астории». Потом друзья юности, актеры и цыгане — в спектакле был занят цыганский хор под управлением Сергея Сорокина — поднялись ко мне в номер.

И пока актеры, цыгане и моя жена вели разговоры об искусстве, мы с друзьями уединились.

На Исаакиевской площади был рассвет, а цыгане пели про лица, которые разгораются, как вешняя заря, и что с песней легче дышится, и что с ней веселей, и в этой песне слышится нам отблеск жизни всей...

Друзья потребовали, чтобы я наконец исполнил монолог из «Принцессы Грезы» «Любовь — это сон упоительный...»

Но не было аккомпаниатора: Тереза совсем исчезла из нашей жизни. Да и жива ли она? К тому же я совершенно забыл слова. Иные слова наполнили мою голову, иная музыка звучала в моей душе. Далеко отплыл от меня Зеленый Гай, и отец с дрожжами, и юность моя...

...Прошло еще двадцать лет. На кухне нашей новой квартиры, недалеко от метро «Аэропорт», мы с женой, с взрослой дочерью и с братом моей жены — «заблужденным цыганом» Михаилом — обедали.

Михаил долго смотрел в окно на корпуса новых зданий, на маячащую вдаль Останкинскую башню и вдруг закричал:

— Да это же Большая улица! А подальше, направо, Старое Зыково!

— Да, Зыково, — подтвердили мы. — Мы туда в магазин ходим.

— А ведь мы жили не здесь, мы жили на Конной, — сказал Миша. — Сюда мы в гости к родственникам иногда приезжали. Сюда! На Старое Зыково!

Мы посмотрим с Михаилом на дома... Очень мало осталось здесь от старого, но кое-что осталось... Несколько домиков.

Это были они? В Старом Зыкове? Две девочки и их рябой двадцатилетний брат, прогонявший их от стола.

Никто этого сказать не мог. Ни Михаил, ни я, ни жена.

Мало ли кто к кому ездил в гости! Мало ли кто кому пел песни! Может, они, может, другие...

Потом мы с женой провожали Михаила до метро. Немного прошли по нашей улице и по продолжению ее — улице Усиевича.

Впереди нас прогуливалась пожилая, очень худая женщина в торчащей ключьями шубе. Ее держал под руку старик в очках и в шляпе, на голову ниже женщины.

Мы с женщиной стали всматриваться друг в друга.

— Это действительно ты? — спросила она.

— Да, это я, Тереза.

— Что ты тут делаешь?!

— Я тут живу. Вот в этом доме.

— А я тут — вот в этом. Уже давно. Семь лет.

— Значит, мы близкие соседи.

Мы познакомились — я с ее мужем, она с моей женой. Записали адреса. Обещали ходить друг к другу в гости.

— Я тут часто гуляю с внуками, — сказала она.

Но так пока еще мы не пошли к ней в гости...

А сейчас я исполню вам монолог из пьесы «Принцесса Греза»: любовь — это сон упоительный...

ВЕНОК

«Быть знаменитым некрасиво...» — сказал поэт.

Склонность к тщеславию у меня обнаружилась очень рано, в самые нежные годы.

В подготовительном классе гимназии ставили спектакль. Люлик Портнягин, одетый в костюм Весны, весь в тюле, в лентах и в бумажных цветах, призывал к себе силы природы и в стихах говорил о пчелках, о лютиках и ландышах и о вешних водах. Гимназисты-приготовишки, мы пели хором гимн весне. Каждый декламировал какое-нибудь стихотворение. Самая маленькая роль — Птички — досталась мне. Текст был: «Вот и я!» Ни стихотворения, ни монолога, ни песенки. «Вот и я!» Я залился слезами и сказал, что мой отец оперный дирижер, мать певица, дедушка композитор и поэтому от ничтожной роли Птички я отказываюсь.

Отец не одобрил меня.

— Быть тщеславным нехорошо, — сказал он.

Потом дело уладилось — в Петрограде началась февральская революция, свергли царя, шальная пуля ранила маму в плечо у трамвайной остановки, папа отнес в ломбард драгоценную булавку в виде двуглавого орла с золотой короной, осыпанной мелкими бриллиантами, подаренную за дирижирование «Тангейзера» в высочайшем присутствии, и уехал с антрепренером Аксариним в Харьков организовывать там оперный театр. Покровскую гимназию закрыли. Спектакль не состоялся. Но склонность к тщеславию так во мне и осталась.

...И вот через сорок семь лет после несостоявшегося гимназического спектакля я срочно должен был вылететь в Прагу на премьеру моей пьесы.

Как и полагается, за десять дней до первого января — день премьеры — я купил билет на самолет Москва — Прага. Скромно встретив Новый год в кругу семьи, договорившись с «Вечерней Москвой» о том, что по телефону сообщу им, как пражане проводят первый день января, и как прошла премьеры, и какие новые спектакли выпускают театры Чехословакии, я в шесть утра двинулся на Шереметьевский. Очень волновался и подгонял таксиста, боялся опоздать — ведь вылет назначен на восемь.

— Вы на какой самолет? — спросила женщина в кассе. — На сегодняшний или на вчерашний?

— Почему на вчерашний?

— Потому что вчерашний самолет вылетел вовремя, но из-за непогоды вернулся обратно. И пассажиры встречали Новый год в аэропорту. А сегодняшний не полетит.

— Почему?

— Потому что продан только один билет. Ваш.

— Что же мне делать?

— Лететь на вчерашнем. Места есть, Тоня? — запросила она по телефону. — На вчерашний сколько билетов продано? Двенадцать? Ну вот, возьми еще тринадцатого с сегодняшнего рейса.

Тринадцатым был я.

Вылетели с опозданием на два часа.

Рядом со мной в самолете сидел молодой араб, который живет в Порт-Саиде, а учится в Москве, в Высшем техническом имени Баумана. Один брат у него вместе с отцом в Порт-Саиде, другой брат — в Берлине. А летит он в Прагу к дяде. Поговорив на смеси русского и французского языков и выяснив многие подробности о его разбросанной по всему миру семье, я стал рассказывать о Праге, где был год назад в качестве туриста.

Вот уже самолет стал терять высоту, мы шли на посадку. Внизу изогнулась река, через реку — мосты, островерхие крыши... Я объяснял арабу, что вот здесь соединяются две реки: Лаба и Влтава. Вот это Карлов мост, это — Градчаны...

В проходе с микрофоном в руке стала бортпроводница и объявила, что по метеорологическим условиям маршрут изменился. Мы садимся в Берлине.

Араб с отвращением посмотрел на меня.

Берлинский аэропорт был набит до отказа шведами, финнами, англичанами, африканцами... Над Европой бушевал циклон. Над Берлином было тихо.

Все кресла, все диваны, все места в ресторане были заняты разноязыкой, разноплеменной публикой.

В отличие от остальных пассажиров у меня не было ни рублей, ни долларов, ни крон. Деньги я должен получить в Праге.

— Сейчас придет представитель Аэрофлота, вы обратитесь к нему, — сказала мне бортпроводница.

Но представитель пришел только тогда, когда вечером наш самолет взял курс на Прагу. Я погрозил ему кулаком из окошка, но он не видел. Араб уехал к берлинскому брату... И мне не с кем было поделиться моими познаниями в чехословацкой географии. Впрочем, может быть, мы подлетаем к Амстердаму? Нет, Прага!

В кресле на аэровокзале спал встречающий меня с утра администратор. Мы поехали прямо в театр, где уже начался спектакль. А я, усталый, голодный, улыбающийся, сидел в ложе и изо всех сил старался не уснуть. А потом меня вытолкнули на сцену. Я целовался с режиссером, жал руки актерам, нас фотографировали и вдобавок на шею надели твердый венок из лавровых листьев с алыми лентами, на которых золотом было написано «Дорогому списывателю». Списыватель — это писатель. Я был на вершине славы. Исполнилась мечта гимназиста-приготовишки. Жаль только, что никто из близких не видит моего триумфа. Покажу им фото. Я с лавровым венком на шее, с глупой физиономией — среди ангелов, чертей, балерин в пачках, рядом с самим Богом. Для этой минуты я жил и учился в Покровской гимназии, в строительной школе, в консерватории, в Пролеткульте, писал, воевал, страдал, женился, рожал детей... И вот... Зеленый лавровый веночек, алые ленты, губная помада на щеках...

А потом с чемоданом, с венком, который несли мои новые друзья Ян, Иржи, Евжен и еще Иржи, мы проследовали на Вацлавскую площадь в отель «Амбассадор». Я наскоро оглядел приготовленный мне номер. Дал телеграмму в Москву и вышел на площадь, где меня уже ждали Ян, Иржи, Евжен и еще Иржи с венком.

— Эх, надо было бы отнести венок в номер! Ну ничего, на обратном пути.

И мы двинулись в рестораник-подвальчик, где уже сидели актеры и режиссер. Там я наконец поел. Мы выпили как следует, потом пошли в другой рестораник. На вешалке я забыл венок. Швейцар бросился за мной:

— Пан списыватель, вы забыли свой венок!

Я вернулся. Забыть венок в другом ресторане тоже не удалось. Метрдотель догнал меня и вручил его.

Потом мы, сильно шатаясь и напевая хором «Ой, цветет калина в поле у ручья», шли по улице. Хлестал дождь, я несколько раз, желая подхватить выскальзывающий из рук венок, падал с ним в лужу... Наконец, расцеловавшись с друзьями у вертящейся двери «Амбассадора», я надел очень грязный и мокрый венок на шляпу и пытался незаметно проскользнуть мимо строгого швейцара в вертящуюся дверь. Но швейцар изловил меня и отправил в другую сторону вертящейся двери — на улицу. Тогда я снял венок с головы, засунул его под пальто и показал мою визитную карточку.

В номере я бросил грязный и мокрый венок на пол и стал наливать в ванну горячую воду, чтоб вымыться. Разделся догола и внезапно почувствовал угрызения совести. Они мне венок от полноты чувств, а я... Поднял венок, положил его в ванну рядом с собой и стал чистить зубной щеткой, смывать грязь...

Зазвонил телефон. Долго, неумолчно... Вызывала международная.

Голый и мокрый, я спешил к телефону, но поскользнулся в мыле и стукнулся носом о край ванны. Пошла кровь. Лентой от венка я вытирал кровь и кричал:

— Алло! Слушаю!

— Это говорит Шевцов из «Вечерней Москвы». Как прошла премьера? Продиктуйте несколько строк. Передаю трубку стенографистке.

Вытирая лентой кровотокающий нос, я стал диктовать...

— С чувством большой радости...

Не помню, что я еще диктовал, но на следующий день заметка в газете появилась. А я, разделавшись с телефоном, вернулся в ванну и обнаружил, что все листы от венка отделились и плавают на поверхности воды...

На следующий день, проделав все необходимые визиты и купив в лавочке канцелярский клей, я аккуратно наклеил на каркас

лавровые листья. Получилось плохо. Отвратительно. И кровь с ленты не смывалась.

Сердечно попрощавшись с театром, рассказав московские театральные новости, я пошел в отель, наскоро уложил чемодан и спустился вниз. В вестибюле меня догнала горничная и вручила мне венок. Я выбросил из чемодана купленные в подарок жене и дочери туфли и, попросив прислать их отдельно, вложил в чемодан венок. Ленты вылезали из чемодана и волочились по полу. Меня провожали Ян, Иржи, Евжен и еще Иржи...

Дома, торжественно открыв чемодан, я вынул венок. Он был страшен. Вдобавок клей и краска от лент перепачкали мои рубашки и косынку — подарок няне.

— Что это такое? — строго спросила жена.

Я объяснил. Сказал, что этот венок нужно повесить над моим письменным столом. Няня и жена заплакали. Венок в доме? Что тут — покойник?

Когда я вернулся после недолгой отлучки домой, венка уже не было... А туфли, которые я вынул тогда из чемодана, так и не дошли, потерялись в пути.

Ночью меня душили сны. Будто я на двух венках, как на велосипеде, мчусь куда-то вниз с горы. То вдруг венки превращаются в смеющуюся рожу неведомого зверя. То вдруг становится нолем за поведением в школьном дневнике. То огромным бубликом, который я ем и неожиданно ломаю челюсть.

— Перестань скрежетать зубами! — толкнула меня в бок жена.

Я проснулся и до утра все думал, вспоминал...

Больше мне лавровых венков никто и никогда не подносил. А жалко...

Впрочем, тщеславным быть нехорошо. Это папа сказал много лет назад, когда я отказался от роли Птички.

ПАСХА

Моя бабушка ненавидела моего отца. Отец терпеть не мог бабушку. Мама любила обоих и очень страдала. Я был равнодушен к ним ко всем. Я любил театр. Если бы они все трое умирали у меня на глазах, я перешагнул бы через трупы и побежал бы в театр. Любовь к театру принимала отвратительный характер. Я сидел на балконе или в партере на свободном месте и молился, чтобы спектакль продолжался подольше. Если бы пьесе играли подряд — заканчивали бы и снова начинали, как киноленту, я бы не покидал зрительный зал. Я пропускал занятия в школе, чтобы пойти на спектакль или на репетицию. Или стоять у служебного входа и ждать появления артистов.

Я раздобыл много старых пьес и выучил их наизусть. Я их читал до тех пор, пока они сами не отпечатывались у меня в мозгу. Даже удивительно, как такой небольшой мозг мог вместить все драмы и комедии Шекспира, «Коварство и любовь», «Горе от ума», «Ревизора», «Лес», либретто старых оперетт, водевили, ничтожные фарсы вроде «Шпанской мушки», пьесы Леонида Андреева, ужасные переводы текстов «Кармен», «Севильского», «Лонгрина», «Фауста», «Паяцев»... В прихожей стоял огромный сундук, в котором хранились оперные и опереточные клавиры, годами накопленные отцом, дирижером и хормейстером.

В Харькове во время гражданской войны множество раз менялась власть, и моего отца, как представителя оперно-опереточной труппы, разные власти то сажали в тюрьму, то выпускали, то назначали директором театра, ректором консерватории, то снимали... А когда установилась мирная жизнь и отец одним из первых получил звание героя труда и «красного профессора музыки», я категорически заявил, что бросаю профшколу строительной специальности и поступаю в театральную студию, буду выдающимся актером на роли неврастеников и простаков. Тут же я сообщил презрительно смотревшему на меня отцу примерный список ролей: Хлестаков, Тетка Чарлея, Орленок, Раскольников, князь Мышкин и Дюрюа в «Милом друге».

Отец плюнул, показал на свою большую ладонь и сказал:

— Когда на ней вырастут волосы. Не раньше.

И ушел в театр дирижировать «Тангейзером».

Мать выгладила отцу крепко накрахмаленную сорочку и понесла в театр. Бабушка сказала, что актерами могут быть или подлецы, или безумные. И привела в пример папу и маму. А я отправился к моему другу Мите Багрову, которому в этот же вечер родители запретили стать героем-любовником. Мы накурились до отвращения и решили по секрету от всех поступить в драмкружок мукомольной фабрики, помещавшейся в другом конце города.

Руководил кружком безработный артист Мицкевич, бывший когда-то участником изощренных бунтарско-сексуальных спектаклей, поставленных Борисом Глаголиным. Это была смесь старинных мистерий, арлекиад и пантомим, где голые фавны и наяды танцевали свои распутные танцы под звуки Сен-Санса. В антракте устраивались диспуты о свободной любви, о красоте обнаженного тела, о вреде стыда и о несовместимости революции с реализмом.

Потом театр закрылся, лопнул. Актеры разбрелись по другим труппам, где благополучно играли Чехова, Найденова, Сумбатова.

А Мицкевич, больной, спившийся, любитель кокаина и эфира, жил с квартирной хозяйкой, вдовой, которая содержала его проголодь.

Драмкружок являл собой страннейший сброд любителей театра.

Там были мы с Митей, почти дети. Были разные дамы, жены ответственных работников, которые день и ночь заседали и почти не

бывали дома. Были безработные актеры (одному было семьдесят девять лет), друзья Мицкевича, было несколько юных и прекрасных девушек, они не могли никуда устроиться на работу, ибо ничего не умели.

Для начала мы репетировали символическую драму Метерлинка «Пеллеас и Мелисанда» и программу «Даешь муку, мукомолы!». Мы пели:

Ребята мукомолы,
Нам всюду ход открыт!
Под этот марш веселый
Куем мы новый быт.

В Метерлинке мы запутались и символическую драму отставили. Концертная программа имела относительный успех, и мы решили поставить что-нибудь фундаментальное.

Мицкевич слег в больницу и оттуда не вышел. Своими силами мы, без режиссера, ставили драму «Великий коммунарь». В начале двадцатых годов эту пьесу ставили многие драмкружки. Там было три действия. Первое происходило во время Великой французской революции (я играл пажа, влюбленного в королеву), второе — крепостное право (я был крепостным, которого самодур помещик засек до смерти). Третье — Октябрьская революция (я держал красный флаг). Репетиции шли прекрасно. Я забросил свою профшколу строительной специальности. А Митя Багров не ходил в свое коммерческое училище. Вечерами я прибегал домой и объяснял родителям, что у нас началась практика по вентиляции и канализации и мы работаем в артели, ремонтирующей общественные уборные на вокзалах.

Отцу нравилось, что я отвлекся от театра и прибилсь наконец к настоящему делу, может быть, стану инженером. Странно только, что я не приношу домой зарплаты. Я открылся во всем маме. Она взяла у отца деньги на расходы и отдала мне. А я за обедом вынул двенадцать рублей и вручил их отцу — первые «честно заработанные деньги». Отец отдал их маме на хозяйство. Бабушка заплакала от умиления.

В отличие от отца, который верил только в музыку, бабушка верила в бога. В сердитого и непреклонного Адоная. И даже все время собиралась пойти в синагогу на балкон (вниз женщин не пускали) и вымолить что-нибудь для себя и для меня. Но она боялась ходить по улице, боялась заблудиться, а попутчиков не было.

И вот настала суббота. Как всегда, православная пасха через неделю после иудейской. Улицы полны народу. В салфеточках несут кулич с бумажными цветами и крашеные яйца. Перед театром цветет акация.

Бабушка решила. Достала из сундука черный парик. Повязала голову белым шарфом и пошла.

У входа в переулок, где помещалась синагога, ее встретили верующие и сказали, что синагогу закрыли и сегодня здесь уже открывают клуб. Бабушка вернулась домой.

За обедом она кипела. И наконец, преодолев отвращение, заговорила с отцом:

— Мосье Шток, — так в торжественные минуты называла она зятя, — вы известный человек в городе, «красный профессор»! Неужели вы не можете пристыдить их, убедить, что так делать нельзя, нужно открыть синагогу.

— Хорошо, — рассеянно сказал отец, — я поговорю.

Мать с благодарностью посмотрела на отца. Бабушка отвернулась от них и пробормотала довольно длинное проклятие.

Единственным человеком, сочувствовавшим ей, был я. Фальшивосочувственным голосом я пересказал сегодняшнюю статью в газете. Нельзя, дескать, оскорблять чувства верующих. Затем лицемерно прибавил, что другая синагога находится очень далеко, на самой окраине города, до нее не добраться.

Бабушка поцеловала меня и ушла во двор поговорить с соседками. А я выкрал из ее сундука парик, завернул в белый шарф и отправился к мукомолам.

Там сообщили, что вечером у нас премьера. Спектакль состоится в новом клубе в синагоге.

И вот я в бабушкином парике, подпоясанный ее белым шарфом, играю пажа. Я объясняюсь в любви к королеве (жена директора мукомольной фабрики), не подозревая, что ее муж — злобный феодал — стоит за дверью и все слышит. Вот он входит. Велит слугам казнить меня... Мерзкие слуги хватают меня за руки. Я бросаю последний влюбленный взгляд на рыдающую королеву и... вижу стоящего в кулисе моего отца.

А за ним толпа красноармейцев в полной форме. Это он приехал со своим солдатским хором на концерт.

Отец смотрит на меня. Он узнал меня.

— Пустите! — кричу я мерзким слугам, влекущим меня прямо к отцу. — Пустите!

Но мерзкие слуги крепко держат меня. Я вырываюсь. Нет. Они слишком крепко держат.

Занавеса нет. Его заменяют аплодисменты.

А я из рук мерзких слуг попадаю в руки отца. Он срывает с меня бабушкин парик. Но в этот момент ведущий объявляет выступление красноармейского хора под управлением красного профессора.

— Мы с тобой дома... — шипит красный профессор.

А я бросаюсь в актерскую уборную, стираю тряпкой грим, раздеваюсь и слышу, как хор исполняет кавказскую песню «Алла га!»

Алла гу! Слава нам! Смерть врагам!» и на бис «Долой, долой монахов, раввинов и попов!».

Домой я все-таки вернулся. Поздно ночью. Вдоволь нагулявшись с Митей Багровым, наплакавшись и накурившись.

Отец открыл дверь, дал мне затрещину. Потом добавил:

— Бабке я не сказал, где мы с тобой сегодня выступали. Но если ты еще раз посмеешь пойти в свою вонючую клоаку, я с тебя шкуру спущу. Канализатор!

Потом все в доме спали. Все, кроме меня. Я обдумывал драму моей жизни. Отца я убью, это решено. Бабушка меня проклянет, если узнает, что я делал сегодня в синагоге. Парик ее я потерял. Меня будут судить за убийство отца и за кражу. Я скажу на суде, что совершил преступление из любви к театру. Я придумал речь обвинителя. Речь защитника. Свою речь. Статью в газете. Прощальное письмо к жене мукомола, которую любил. Я придумал речь Мити Багрова на моих похоронах.

Тихонько, чтоб никого не разбудить, в уборную прошел отец. Я вспомнил, как он просил не говорить бабке, где мы сегодня выступали. И еще вспомнил, что он влюблен в одну хористку, и я как-то видел их в парке, и мы оба сделали вид, что не заметили друг друга. Я совершенно не осуждал отца и подумал, как это он, посвятивший свою жизнь театру, умный и образованный человек, не хочет, чтоб я стал актером. Странно... Потом я проникся величайшей жалостью к себе, к отцу, к бабке и к драмкружку мукомолов, куда мне больше ходить не придется. Потом я заснул.

Может быть, именно в эту ночь я стал драматургом.

АЛЕКСАНДР ДЕРЗНУВШИИ

Камера в Оренбургской тюрьме. Ночь. Свечей нет. На нарах сидит женщина. На руках у нее пятимесячная девочка. На колени положил голову двухлетний мальчик. Женщина, сидящая в тесной камере, — редактор газеты «Простор». Арестована за антиправительственную статью. В тюрьму заключена с двумя детьми, ибо их некуда деть... Женщина эта — Антонина Васильевна Афиногенова. Девочка умирает. Сын остался жить.

Так начинается его жизнь...

Перед спектаклем городского Скопинского драматического театра «Бедность не порок» говорит вступительное слово о творчестве Островского и о путях пролетарского искусства высокий, тоненький, кудрявый, застенчивый молодой человек, почти мальчик. Это

«постоянный оратор по чтению вступительного слова», сотрудник и член редколлегии скопинской газеты «Власть труда», рецензент и автор только что вышедшей книги стихов, комсомолец Александр Дерзнувший. Таков псевдоним поэта. Впрочем, некоторые статьи он подписывает настоящим именем — Александр Афиногенов. Ему шестнадцать лет.

Москва. Институт журналистики. Деятнадцатилетний студент читает друзьям-студентам свою комедию «Товарищ Яншин». Это уже его вторая пьеса. Первая пьеса была напечатана Пролеткультом и называлась «Роберт Тим».

Ярославль. 1924 год. Только что подписан к печати очередной номер газеты «Северный рабочий». Здесь же, в Ярославле, работают Александр Фадеев, Алексей Сурков, Валерия Герасимова. Живут они все вместе в одной комнате.

Ответственный секретарь остается один в редакции. Он вынимает из стола папку, на которой написано: «Савинковское восстание». Он работает над кинохроникой «Змеиный след» — в 38 эпизодах. Впоследствии Ярославское издательство выпустит эту книжку. Молодой писатель рассказывает о белогвардейском восстании 1919 года, возглавленном эсером Савинковым и разгромленном большевиками. За окном рассвет над Волгой.

Снова Москва. Воздвиженка, бывший морозовский особняк. Пролеткульт. На хвосте бронзового леопарда сидит девушка и рассказывает о вчерашней премьере какого-то Афиногенова — «По ту сторону щели». Был такой успех!.. Главную роль ученого играл Саша Ханов. А его секретаршу, дурочку, исполняла Глизер... А потом вышел кланяться сам Афиногенов. Длинный-длинный. Похож на журавля. Вот он сейчас там, на дворе, играет в волейбол...

А через год Александр Николаевич Афиногенов — заведующий литературной частью театра, член Исполбюро Всесоюзного пролеткульта (так пышно он тогда именовался). Затем директор и главный драматург театра. Там были поставлены его пьесы «На переломе», «Гляди в оба», «Малиновое варенье». В других театрах шли «Черный Яр», «Волчья тропа», «Днипрелъстан».

Я был студийцем, а затем актером и режиссером-лаборантом в Передвижном театре Пролеткульта. Он стал моим начальником. Я играл в его пьесах и сам писал маленькие пьески, которые он редактировал.

Рассказывал ему о поездках Передвижного театра по городам и селам, о жизни нашей бродячей труппы. Он посвящал меня в дела «большой литературы».

Он жил во Всехсвятском, на Песчаной, деревянной одноэтажной улице, в домике, окруженном цветущей сиренью, и приезжал

в Пролеткульт на велосипеде. К раме был прикреплен портфель, из которого торчали газеты. Он был директором театра, драматургом, журналистом... Спорил с руководством старого Пролеткульта. Но это был уже не тот Пролеткульт, об ошибках которого мы часто читаем. Пролеткульт хирел, «теории» его об отрицании культурного наследия уже были осуждены, в недрах самого Пролеткульта появилось новое поколение, которое тяготело к подлинному реализму, к Горькому, к МХАТу.

Пролеткультовцы возмущены «изменой» Афиногенова, отдавшего свою новую пьесу во МХАТ 2-й. Афиногенов пригласил их на генеральную репетицию. Скорбно пожимая руку автору после конца репетиции, стараясь в рукопожатии выразить глубокое сочувствие потерпевшему провал драматургу, пролеткультовцы утешали его:

— Ничего, Саша, переживешь! Еще напишешь что-нибудь хорошее...

А вечером была премьера. Подобного успеха давно не видели стены старого незлобинского театра на Театральной площади. Двадцать пять раз раздвигали занавес. Публика не хотела уходить. Актеры раскланивались, раскланивались... Азарин, Бирман, Гиацинтова, Берсенов, Чебан, Благонравов, Смышляев, Дурасова... Какой это был прекрасный спектакль! Как глубоко волновал он. Какие честные и сильные чувства будил. Это был «Чудак». Пьеса о движении энтузиастов, решивших перевыполнить программу своей фабрики. В первом году первой пятiletки еще не говорили о выполнении ее в четыре года. Пьеса «Чудак» рассказывала о явлении тогда еще единичном, только нарождающемся.

Афиногенов выхватил идею времени прямо из гущи жизни, не ждал разрешений и указаний: пиши про это, а про это не пиши. Он сам брал на себя ответственность за то, о чем хотел писать.

Пресса высоко оценила «Чудака».

А еще через год в Ленинградском государственном академическом театре драмы, а затем и в Московском Художественном состоялись премьеры новой драмы Афиногенова — «Страх».

Наутро после премьеры Афиногенов в своей квартирке на Тверском бульваре, рядом с Камерным театром, сидит и разбирает почту. Письма от комсомольцев, колхозников, артистов, критиков, академиков... Корзины цветов от руководства МХАТа, от МХАТа 2-го... Рецензии во всех газетах и журналах... Александр Афиногенов знаменит, как ни один драматург в нашей стране. Триста театров ставят «Страх». Он председатель Всеросскомдрама, ответственный секретарь теасекции РАПП, редактор театрального журнала, член многих редколлегий...

Афиногенову двадцать семь лет. Он высок, худощав, подвижен, неумолим... Как-то мы поехали с ним в Ленинград. Он вставал в семь

утра, брился, гулял по набережной Невы, шел в Эрмитаж (по намеченной им программе нужно было осматривать по два зала в день), возвращался в «Европейскую», садился — работал до вечера, затем шел в театр, после театра встречался с друзьями или писал до двух, трех часов ночи. А в семь снова вставал, принимал ванну и отправлялся в свой ежедневный поход.

— Постарайся, — всегда говорил он, — обязательно понять, почему у тебя не выходят сцена, образ, реплика. Перебери сто вариантов, а если не получается, — еще сто. Пока не получится. Дойди до последней реплики, а если написанное тебя не удовлетворит, — начни сначала. Не расстраивайся, когда тебя ругают, постарайся понять, почему тебя ругают. Никогда не находи простых объяснений, вроде того, что критик почему-то тебя не любит. Постарайся понять, почему он тебя не любит. Никогда не переноси отношения с критикующими твое творчество людьми в область личных отношений. Как это глупо — перестать кланяться и подавать руку человеку, которому не понравилась твоя пьеса!

Афиногенов отдал дань так называемой «групповщине» в литературе, был одним из руководителей РАПП. С середины тридцатых годов, достигнув зрелости, возненавидел окололитературную возню и связанные с ней интриги, деление писателей на враждующие между собой, отнюдь не по принципиальным мотивам, группы. Он дал клятву не позволять вовлекать себя ни в какие литературные группировки, не воздавать хвалу тому, к чему не лежит душа, и не хулить то, что нравится, оправдываясь при этом велением «высокой политики».

Он много размышлял о природе драмы, писал книгу, потом бросил.

— Мне как теоретика что-то не везет, — смеясь, говорил он. Он любил практику драматургии, самый процесс творчества. Его кабинет в Москве, а потом в Переделкине, где он работал последние годы, напоминал лабораторию ученого. Александр построил огромный стол с большими ящичками и конторку, за которой писал стоя. На отдельном столике лежали папки с газетными вырезками, справки, выписки из книг самого разнообразного содержания.

Более десяти раз смотрел в Театре имени Евг. Вахтангова «Егора Булычова» и каждый раз находил в этой пьесе все новые и новые достоинства.

Алексей Максимович любил Афиногенова. Весной 1935 года мы, группа московских драматургов, были у Горького на даче. Как он любовно, отечески смотрел на Афиногенова! Слегка наклонив голову, Горький, который был одного роста с Александром Николаевичем, внимательно слушал его и иногда, кивнув на одного из нас, спрашивал тихонько: «А кто это? А что он написал?..»

К сожалению, в решающий период жизни Афиногенова, когда ему больше всего нужен был добрый совет, участие, помощь, Горького уже не было на свете.

После «Страха» Афиногенов написал «Ложь», или, как ее назвал позднее, «Семью Ивановых». Пьесу приняли к постановке многие театры. Харьковский русский драматический, руководимый Николаем Васильевичем Петровым, один раз сыграл ее.

В новой пьесе драматург гневно восстал против лжи, против того, что впоследствии будет названо «показухой» и «приписками». Никакая высокая и благородная цель не может быть достигнута, если для ее достижения пользуются страхом и ложью.

В начале тридцатых годов был очень популярен герой новой драмы Н. Погодина «Мой друг» — начальник большого строительства Григорий Гай. Гаю иногда приходится идти на компромисс с собственной совестью, прибегать и к обману ради пользы дела.

Как полемика с «Моим другом» была задумана «Семья Ивановых». Нет, не должно между советскими людьми быть ни маленькой, ни крошечной неправды. Всегда маленькая ложь тянет за собой большую. И герой «Лжи» — начальник крупной стройки — докатывается до жалкой роли обманщика. Он предал друга. Любимую женщину. Предал семью. И предал партию.

Афиногенов задумал большую историческую хронику. Действие происходит в 1918 году. Герои: Владимир Ильич, военный курсант, молодой рабочий Алеша Рязанцев, его мать, уборщица на заводе Михельсона, комиссар Таня, доктор Сошальский, старый интеллигент, пришедший в революцию, солдаты, рабочие... Пьеса рассказывала о покушении на Ленина, о глубокой, самоотверженной любви людей к Ленину, о кровной связи вождя и народа.

Пьеса была вчерне написана. Но драматург не был удовлетворен своей работой. Он откладывал и снова возвращался к ней. В бумагах его есть записи о доработке пьесы, планы доработки... Война, а затем гибель писателя помешали ее завершению.

В 1956 году по просьбе Центрального театра Советской Армии я завершил пьесу. Некоторые роли развил, как было намечено Афиногеновым. Спектакль был показан в день открытия XX съезда партии. Это была последняя режиссерская работа Алексея Дмитриевича Попова...

Одновременно с драмой «Москва, Кремль» он пишет сатирическую комедию «Отель «Люкс» — о поджигателях второй мировой войны. Пишет драмы «Мать своих детей», «Вторые пути» — продолжение «Далекого», собирает материал для большого романа.

Интересна судьба пьесы «Мать своих детей». Афиногенов написал главную роль для Корчагиной-Александровской. Но тогдашние руководители Ленинградского театра драмы имени Пушкина отказались от пьесы. Не приняли ее и московские театры. Пьеса была издана

крошечным тиражом и поставлена каким-то периферийным театром, а затем забыта. А через пятнадцать лет, в 1954 году, «Мать своих детей» поставил Центральный театр транспорта, затем и другие театры. Нет города, в котором не прошла бы эта пьеса. Часто ее показывают по телевидению. Самое замечательное, что пьеса воспринимается как сугубо современная, проблематика ее актуальна во всем и сегодня. Так драматург смог не только воспеть время, в которое жил, но и заглянуть в завтра.

В образе матери во многом угадываются черты матери Афиногенова — Антонины Васильевны. И хотя Екатерина Ивановна Лагутина — простая женщина, крестьянка, бывшая прачка, а Антонина Васильевна интеллигентка, учительница, характер матери, мудрое, справедливое отношение к жизни, к сыну, правдивость и непосредственность — все это списано драматургом с натуры.

...На Новодевичьем кладбище рядом с могилой Афиногенова могила его жены. На доколе написано: «Евгения Бернардовна Афиногенова. 1905—1948».

Его жену звали Джени. Она была американка, американская коммунистка. Приехала в СССР в начале тридцатых годов с одной из актерских бригад. Встретилась с Александром Николаевичем да так в Москве и осталась. Бросила сцену (она была танцовщицей), изучала русский язык, стала верной подругой и помощницей мужа. У Джени был деятельный характер, она была очень принципиальна в отношениях с людьми, обладала прекрасным литературным вкусом. Александр Николаевич всегда советовался с женой, читал ей первой свои пьесы. Весь «переделкинский» период жизни Афиногенова был организован ее стараниями. Она бережно охраняла режим Александра Николаевича, старалась сделать его пребывание в Переделкине уютным. Дружеская атмосфера, царившая на даче, во многом поддерживалась благодаря такту и спокойствию Джени.

Евгения Бернардовна ненадолго пережила своего мужа. В 1948 году она, возвращаясь в Советский Союз из Америки, куда ездила с двумя маленькими дочерьми навестить родителей, трагически погибла от взрыва на теплоходе. В носовой части теплохода, в каюте, расположенной над кинобудкой, там, где хранились фильмы, раздался взрыв. Несколько человек, в их числе и Джени, были убиты. Девочки играли в мяч на другом конце теплохода, они остались живы. Их вырастила бабушка — Антонина Васильевна, героическая и прекрасная женщина, которая прожила девяносто пять лет...

Но вернемся к нашему рассказу.

Афиногенов поехал путешествовать по Закарпатыю. Очутился в Западной Украине. Затем поехал в Среднюю Азию. Вместе с композитором Климентием Корчмаревым задумал оперу. Написал либретто. Опера называлась «Клятва девушки»... Затем, через год, когда началась война, вспомнил о девушке-туркменке и сделал ее героиней

своей последней драмы — «Накануне». В том же 1940-м написал киносценарий «Генерал артиллерии», который так и не стал фильмом.

Писал дома, писал в пути, писал на даче... Почти забросил свои дневники. Будто предчувствовал, как герой «Далекого» Малько, что жить ему осталось немного, меньше полутора лет... Потом бросил все оперы, сценарии, путешествия. Нужно возвращаться к театральной драматургии.

И вот он снова в Переделкине за своей конторкой, стоит и пишет. Это будет пьеса о юности, о весне. Он так и называет пьесу — «Апрель». Потом переименовал заглавие и назвал по имени маленькой героини — «Машенька». Эту пьесу мы можем посмотреть и сегодня на многих сценах наших театров.

С огромным успехом «Машенька» прошла в Театре Моссовета в постановке Ю. Завадского с В. Марецкой и Е. Любимовым-Ланским в главных ролях.

Одновременно была поставлена Н. Петровым в Театре транспорта, там шла около двадцати лет...

Война. В Московском клубе писателей идет собрание, посвященное работе писателей в периодической печати. Нужны очерки, рассказы, статьи для газет Советского Союза и для зарубежной печати. Весь прогрессивный мир, потрясенный страшной войной, интересуется жизнью наших людей на фронте и в тылу, в городах и селах. Сообщение об участии писателей Москвы в этой работе делает заведующий одним из отделов Совинформбюро Александр Николаевич Афиногенов.

В первые дни войны им написана пьеса «Накануне». В цирке готовится военная пантомима по сценарию Афиногенова. В «Правде», в «Известиях» его статьи. Он пишет, редактирует, ездит, выступает... Он воюет.

Афиногенов был воин. Но я никогда не видел его в военной форме, которой так любили щеголять некоторые писатели в довоенное время. Впервые увидел его в армейской шинели, в сапогах, в офицерской фуражке, с новенькими скрипящими ремнями и портупеей через плечо на рассвете 29 октября 1941 года на вокзале города Куйбышева. Он шел к коменданту и очень торопился. Его вызвал в Москву А. С. Щербаков. Из Москвы он должен был срочно вылететь в Англию и в Америку по заданию газеты и Совинформбюро...

Он был очень возбужден предстоящим полетом.

— Прости, я очень тороплюсь... Впереди еще столько всего...

Без четверти семь вечера того же дня Афиногенов был убит фашистской бомбой, попавшей на Старой площади в крыло корпуса Центрального Комитета партии.

Ему было тридцать семь лет. Он был в расцвете своего таланта. Он написал двадцать шесть пьес. Когда у него был успех, он всегда

говорил: «Да, да, мне очень повезло с этой пьесой. Но это еще не «та». «Ту» я скоро напишу. Чувствую, что напишу».

Он прожил мало, но знал и большой успех и большое горе. Иногда заблуждался. Знал радость настоящей творчества, не связанного ни с мелкой конъюнктурой, ни с посторонними соображениями. Он был мало знаком с Маяковским, но одновременно с ним работал над пьесой об энтузиасте двадцать девятого года. «Баня» писалась одновременно с первой значительной пьесой Афиногенова. Фамилия героя пьесы Маяковского Чудаков. Пьеса Афиногенова называется «Чудак». Одна в комедийно-сатирическом, другая в драматическом жанре, но обе говорят о борьбе с бюрократами, о творческой, непоколебимой мысли молодых энтузиастов. «Чудаки украшают жизнь», — сказал Горький.

Афиногенов жил и творил, окруженный большими художниками, мастерами советской культуры. Этим в значительной степени объясняются его удачи. Он был связан с Горьким и Станиславским, встречался и переписывался с Немировичем-Данченко. Он начинал одновременно с Фадеевым, Либединским, Сурковым... Дружил с Пастернаком и Всеволодом Ивановым. Горячо спорил, но был всегда в одной шеренге с Всеволодом Вишневским, Треневым, Ромашовым, Погодиным, Файко, Лаврениевым. Он много работал и до конца жизни сохранил дружбу с Петровым, Берсеневым, Гиацинтовой, Бирман, Скопиной. В его пьесах блистали всеми гранями таланта Певцов, Леонидов, Корчагина-Александровская, Щукин, Ливанов, Борисов, Добронравов...

Александр Николаевич любил творчество Прокофьева и Шостаковича, любил живопись и музыку. Любил жизнь и умел веселиться, отдыхать, играл на гитаре, пел, рассказывал... Много читал и очень много работал. Он самостоятельно изучил английский язык и читал в подлиннике Шекспира, Филдинга, Гольдсмита... Больше всех драматургов любил Горького и Чехова. Знал наизусть их пьесы.

В семнадцать лет он взял себе псевдоним «Дерзнувший».

В городе Скопине, где провел юные годы писатель, есть улица имени Александра Афиногенова.

По Оке ходит теплоход «Александр Афиногенов».

Вспоминая об Александре Николаевиче, драматург Ромашов писал, что Афиногенов внешностью своей, повадкой, смелостью был похож на капитана корабля.

Я счастлив, что мне довелось плавать матросом на его корабле.

В 1940 году мы одновременно написали пьесы. Он — «Машеньку», я — «Дом № 5». Его пьеса была посвящена пятнадцатилетней девуш-

ке, потерявшей родителей. Моя — тринадцатилетнему школьнику. Разные судьбы, разный сюжет. Обе эти пьесы связывала тема — воспитание молодежи, тревога за судьбу подростков. Нас объединяли в критике этих пьес (обвиняли в «советском сентиментализме», в «чувствительности», писали, что в наших пьесах действуют скверные матери, каких, как известно, не бывает). О пьесах спорили.

Затем «Машеньку» неожиданно премировали на конкурсе лучших пьес Российской Федерации. О моей пьесе появилось несколько хвалебных статей. Она была высоко оценена и в докладе А. Я. Бруштейн на всесоюзном слете работников театров для детей.

Я поздравил Афиногенова с премией и написал ему письмо. Он мне ответил.

«Ст. Ваковка. Городок писателей.
12 мая 1941 г.

Милый Исидор!

Спасибо тебе за поздравление!

Я, признаться, тоже доволен, и не столько премией, как тем, что она опубликована вовремя. Это сразу оборвало все слюнотечения у людей, которым пьесы, подобные «Машеньке» или «Дому № 5», — стоят, как рыба кость в горле. Но, как я и говорил тебе, идя с ночного просмотра, — вся эта мышинная возня не только не получила дальнейшего развития, но даже «Литературка» обошла ее молчанием. Как будто все говорили друг другу милые вещи на твоём обсуждении. А доклад Бруштейн подан просто очень хорошо.

Крепко жму тебе руку.

Сердечный привет жене!

Твой — А. Афиногенов».

«Мышиной возней» было названо обсуждение пьесы и спектакля Госцентюза в Союзе писателей.

Однако Афиногенов поторопился, считая, что «мышинная возня» не получила дальнейшего развития». 13 июня, за девять дней до начала войны, в «Известиях» была опубликована разгромная статья Белогорского «Странные происшествия в доме номер пять», где пьесу называли «клеветой», а автора клеветником.

А когда окончилась война, Саратовский театр имени Ленинского комсомола, затем ленинградский тюз и многие театры страны поставили пьесу опять. Напечатана она в сборнике моих пьес в 1960 году. Говорится о ней в разных книгах по истории советского театра для детей, и больше меня никто не называет клеветником.

Но тогда, буквально накануне начала Великой Отечественной войны, мне было плохо. Очень плохо. Обидно.

Через день после появления статьи Белогорского я получил письмо от Афиногенова. Вот оно:

«Ст. Баковка. Запад. ж. д.
Городок писателей.
15 июня 1941 г.

«Дорогой Исидор!

Давно хотел написать тебе — но все не подыскивались слова утешения и бодрости, а теперь вдруг понял, что и утешать не надо — надо просто сказать, чтобы ты ни на одну минуту не прекращал работы над новой пьесой; только в подлинной, охватывающей все существо работе и есть законный реванш за обиду, боль и сожаление об угробленной вещи.

И надо написать быстро! Не задумывайся над частностью, не очень занимайся отделкой, это придет потом. Главное, положи на стол новую свою вещь и этим докажи силу сопротивляемости и напора. Без такой силы нам не пробиться.

А пробиваться надо.

Выше голову!

А. Афиногенов».

Ах, как важно было мне получить тогда это письмо.

Дорогие товарищи! Как это важно — поддержать своего друга в тяжелый час. Мы как-то стесняемся иногда писать друг другу. Стесняемся утешить. А это нужно. Без этого не прожить.

Тяжелые часы бывают у всех людей. И у драматургов тоже...

Вот и весь мой рассказ об Афиногенове, драматурге, учителе, друге.
Об Александре Дерзнувшем.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Мир чудес	3
Перевоплощение	13
Эскиз романа	26
Венок	30
Пасха	34
Александр Дерзнувший	38

Исидор Владимирович ШТОК

В НЕБЕ МОЕЙ ЮНОСТИ

Редактор Д. К. И в а н о в.

Технический редактор О. Н. Л а с т о ч к и н а.

Сдано в набор 14.02.84. Подписано к печати 04.04.84. А 00351.
Формат 70×108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,10.
Тираж 95 000 экз. Изд. № 1144. Заказ № 2233. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты
«Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

**● БЫСТРЫЙ И НАДЕЖНЫЙ РЕМОНТ
ФОТОАППАРАТОВ ГАРАНТИРУЕТ
РЕМБЫТТЕХНИКА.**

Перед Вами чудесный пейзаж.
Фотоаппарат в руки и...
Но уникального кадра
не получится: отказал механизм
затвора. Не советуем чинить
аппарат своими силами, это может
привести к серьезным повреждениям.
**БЫСТРЫЙ И НАДЕЖНЫЙ РЕМОНТ
ФОТОАППАРАТОВ ГАРАНТИРУЮТ
МАСТЕРА СЛУЖБЫ БЫТА.**

В мастерской Рембыттехники
фотоаппарат разберут,
неисправные узлы и детали
отремонтируют или заменят,
механизм вычистят и смажут.
После ремонта аппарат тщательно
проверят с помощью современных
контрольно-юстировочных приборов.

Росбытреклама